

Максим Горький

Голубая жизнь



Annotation

«Константин Миронов, сидя у окна, смотрел на улицу, пытаясь не думать.

Разогнав дымчатые клочья облаков, похожие на овечью шерсть, ветер чисто вымел небо, уложил затейливыми фестонами пыль немощёной улицы и притих, точно сам зарылся в пыль. Слетелись воробыи; прыгая мячиками, они шумно и хлопотливо выщипывают перья с отрубленной головы петуха; из подворотни Розановых вылез одноглазый чёрный кот, прилёг, нацелился, прыгнул, но, не поймав воробья, потрогал мягкой лапой петушиную голову, взял её в зубы, встряхнул и, не торопясь, солидно разводя хвостом, унёс добычу в подворотню...»

- [Максим Горький](#)
 -
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
-

Максим Горький

Голубая жизнь

Константин Миронов, сидя у окна, смотрел на улицу, пытаясь не думать.

Разогнав дымчатые клочья облаков, похожие на овечью шерсть, ветер чисто вымел небо, уложил затейливыми фестонами пыль немощёной улицы и притих, точно сам зарылся в пыль. Слетелись воробы; прыгая мячиками, они шумно и хлопотливо выщипывают перья с отрубленной головы петуха; из подворотни Розановых вылез одноглазый чёрный кот, прилёг, нацелился, прыгнул, но, не поймав воробья, потрогал мягкой лапой петушиную голову, взял её в зубы, встряхнул и, не торопясь, солидно разводя хвостом, унёс добычу в подворотню.

Твёрдо шагает почтенный Иван Иванович Розанов, гонит пред собою палкой рыжего козла; в городе заблаговестили ко всенощной, Розанов снял фуражку, обнажив лысый череп угодника божия, одобрительно взглянул в синее, прохладное небо; козёл тоже остановился, встряхивая бородою, глубоко воткнув копыта в пыль.

«В Париже – это невозможно, – подумал Миронов. – В Париже не позволят гонять козлов по улицам. Там не бросают под окнами петушиные головы...»

Вдали, внизу, за оловянной полосою реки, за рыжей грудой зданий водочного завода и серыми пятнами домов земской колонии душевнобольных, опускается к песчаным холмам, в чёрные, мохнатые кусты можжевельника, распухшее, лишённое лучей, оранжевое солнце, как будто оно, гладко обритое, ускользнуло из колонии душевнобольных и прячется. Это повторялось каждый вечер и надоело, как страница многократно прочитанной книги, прочно в克莱ившаяся в память.

Чтоб не думать, Миронов расставлял в жемчужном небе чёрные кружочки карты железных дорог: Москва – Рига – Берлин – Кёльн – Париж, но сегодня в небе не хватало места для этих кружков, последний из пяти приходилось ставить или очень близко к солнцу или в центре его, и тогда точка Парижа становилась досадно невидимой. А поставить эту точку в небе было совершенно необходимо; утвердясь на ней, воображение тотчас же, как всегда, создало бы голубой город, полный торжественно органного шума, город весёлых людей и необыкновенных приключений, где жизнь

текла легко, просто, не скрывая в себе ничего непонятного, и где даже такой злой человек, каков Рокамболь, не в силах всю жизнь делать зло. Там нечеловечески обаятелен даже урод Квазимодо, там жили «Три мушкетёра», действовал таинственный «Рыцарь курятника» и бесстрашный Д'Арвиль, один из «Трёх любимцев Анны Австрийской». А – здесь...

На берегу реки два голоса провожали солнце тягучей песней, она хорошо сливалась с медным гулом благовеста церквей; ревущий бас возчика Артамона, смягчённый расстоянием, гудел тоже мягко, точно колокольная медь. Целый день, с утра, пылил и посвистывал сухой ветер, а теперь церковный благовест и песня, насытив воздух потоком ласковых звуков, как будто стремились окончательно установить на земле и в людях тихий, музыкальный порядок.

Но певучая тишина субботнего вечера не могла успокоить Миронова, всё в нём было разодрано, спутано, встревоженная память показывала картины пережитого, подавляя тяжёлым, пёстрым хаосом.

Впервые испытывал он такое волнение памяти и столь тяжёлую необходимость думать; это даже пугало его, он уже несколько раз оглядывал углы комнаты, как бы ожидая увидеть в синеватом сумраке вечера кого-то, кто насиливает его, заставляя вспоминать и обдумывать.

Странно: если закрыть глаза – тьма начинает дрожать, в ней, в каждой точке её, зарождаются маленькие вихри и, располагаясь то горизонтально, кругами на воде, то крутясь столбиками чёрной пыли, приводят безграничие тьмы в безмолвное кипение, вся тьма сочится, потеет мыслями, и они облекаются в надоедливые очертания скучных слов:

«Как же я буду жить?»

Когда отец говорил о мясе, рыбе или молоке: «Задумались» – это значило, что мясо и рыба – загнили, молоко – закисло.

Незадолго до смерти отца мать крикнула ему:

– Подумал бы, дурак, ведь издохнешь скоро!

Он, посмеиваясь, ответил:

– А ты знаешь, что значит – думать? Это значит – пыль стирать. Вот – в руке у тебя полотенце, ты стираешь им пыль, было полотенце чистое, стало грязным. Так и мы с тобой, Лидия, достаточно надумались...

Мать, ревностно следившая за чистотою в доме, рассердилась, закричала, наскачивая на отца:

– Так я – грязная тряпка? Так у меня в доме грязно? Тринадцать дней медленно прошло с того утра, когда Миронов, выйдя в кухню умываться, увидел огромное тело матери на полу: кособок, плечом прислонясь к печке, она сидела, упираясь рукою в пол, и мычала, глядя в угол страшно

вытаращенными глазами. Когда он наклонился поднять её, думая, что она всё ещё пьяная, мать, с трудом отклеив ладонь от пола, взмахнула рукою и повалилась к его ногам, всхрапывая, как лошадь. Она храпела и мычала ещё четверо суток и всё взмахивала правой рукою, отталкивая от себя кого-то, а на пятый день тяжело свалилась с кровати, поползла в угол спальни, к сундуку, и там, громко крякнув, умерла.

Неделю, с утра до вечера, в доме сутились чужие люди, шмыгала по всем комнатам маленькая, горбатая и обидчивая сестра милосердия, кричал и непрерывно курил толстый доктор, сидел, широко расставив ноги, рыжебородый, лиловый поп Борис, все о чём-то расспрашивали Миронова, а неприятный всей улице столяр Каллистрат назойливо допытывался:

– Что же ты, скука-сирота, думаешь делать?

В Париже смерть человека и всё, следующее за нею, гораздо проще, понятнее, более интересно и не так ненужно, не так страшно. Там на смерть женщины не приходят смотреть чужие люди, и, конечно, там невозможен такой человек, как столяр Каллистрат.

В день похорон матери он вынес на улицу горшок сметаны и, макая в неё малярную кисть, стал мазать забор своего сада. Зачем? Он не был пьян и делал это нелепое дело вполне серьёзно, а когда его спросили, что он делает, – спокойно ответил:

– Забор крашу.

– Сметаной?

– Краски у меня не нашлось.

Минут десять он усердно и молча мазал серые, выгоревшие на солнце доски, десятка три взрослых и множество мальчишек следило за его работой, потом подошёл уважаемый Иван Иванович Розанов и ударом ноги разбил горшок.

...Осмотревшая мощное тело матери, доктор неприлично и обидно сказал:

– Не пьянствуй, – прожила бы ещё лет сорок.

Миронов вспомнил, что хотя эти слова показались ему грубыми, однако он тотчас сосчитал: если б мать прожила ещё сорок лет, ему, в год её смерти, исполнилось бы пятьдесят девять. И, наверное, она всю жизнь кричала бы на него:

«Дурак! Весь в отца».

Большеглазая, крикливая, с утра полупьяная, она, тяжко топая, ходила бы по комнатам с тряпкой в руке, истребляла мух, стирала пыль, насыщала воздух запахом маринованного лука и мочёных яблок, любимой закуски её. И ругала бы отца.

Она ругала его всегда, а особенно по праздникам, когда он, навесив на свои длинные, угловатые кости мундир топографа, уходил в город играть на биллиарде; он был знаменит как мастер этой игры, и вообще во всём – в слове и деле – был необыкновенный человек.

Пред Мироновым вытянулась тощая фигура, с длинными, но редкими усами, с тёмным клочком волос под нижней губою; отец кашлял, плевал розовой и красной слюною и, подмигивая тёмным, весело горевшим глазом, рассказывал Косте чудесные истории о туркменах и генерале Скобелеве, о Кавказе, Хиве, Бухаре; эти рассказы рисовали его человеком лёгким, как птица, беззаботным странником по земле. Под левым глазом его была морщинистая, красная яма, она оттянула веко, и казалось, что глаз внимательно заглядывает в эту яму, отец говорил, что это – след раны, нанесённой туркменом.

Он никогда не ругался с матерью, даже спорил с нею редко, но всегда сердил её какими-то особенными, насмешливыми словами, мать часто кричала:

– Перестань, Митька! Смотри, накажет тебя господь за глупость...

– Бог за глупость не карает, бог дураков любит, – возражал отец.

Костю тоже беспокоили слова отца, присыхая к памяти его незаметно и плотно, как чешуя рыбы к коже руки. Склейвая чью-то разбитую скрипку, отец вынул из неё круглую, коротенькую палочку и сказал:

– Эта штучка называется – душа. Вот и в тебя, Лидия, дьявол вставил такой же стерженёк...

– Врёшь, – закричала мать, – мне душа богом дана...

В день её именин, когда она, пышно одетая, важная, пришла из церкви, отец поднёс ей кусок кашемира на платье, а внутри подарка оказалась противная зелёная картина «Смерть грешника», – в ногах умирающего человека стоял, оскалив зубы, высунув огненный язык, зелёный чёрт.

Сначала это рассмешило, а потом обидело мать, и за обедом, сильно выпив, она вдруг заплакала, назвала отца:

– Горе моё, несчастье моё!

В редкие часы миролюбивого настроения она именовала отца «фокусником» за то, что он сделал музыкальный ящик, который играл кадриль «Выюшки», песню «Матушка, голубушка» и гимн «Коль славен наш господь». Ящик этот мать, пьяная, разбила, растоптала ногами. Костя собрал обломки, спрятал их на чердаке и долго упрашивал отца починить удивительное соединение дерева и металла, которое отец какою-то чудесной силой заставил петь весело, печально, торжественно. Отец сказал:

– Отстань, это – ерунда, ящик!

И, вздохнув, задумчиво играя ухом Кости, прибавил:

– А вот если б она как-нибудь лопнула, опилась, – я бы сделал штучку!

Он любил мелкую, затейливую работу, выпиливал рамки для фотографий, чинил гармоники, склеивал разбитые скрипки и, работая, всегда весело напевал:

Семь су,
Семь су,
Что нам делать на семь су?

Самое лучшее, что сделал отец и что Костя бережно хранил, это глобус, подарок отца в тот день, когда Костя перешёл во второй класс гимназии. Глобус был обыкновенный, но нижнее полушарие его отец заключил в медную чашку для мытья чайной посуды, вытравил на ней кислотою океаны, континенты, острова, искусно раскрасил их, набил в медь чаши стальные шпильки и припаял на штативе стальную гребёнку, так что она обнимала нижнюю часть глобуса.

Когда Костя повернул земной шар на оси, гребёнка бойко начала тренькать весёлую песенку:

Чижик, пыжик, – где ты был?

Это понравилось даже матери, она долго катала глобус на стержне, смеясь хриплым, пьяным смехом. А кошке не понравился голубоватый тренькающий шар, фыркнув, она убежала. В скучные минуты Костя очень любил раздражать кошку забавной, металлической музыкой глобуса.

Весёлый человек был отец и любил шутить, а вспоминать его шутки не только не весело, но даже неприятно.

В год смерти своей, когда мать уехала на богомолье в монастырь, отец приделал ко всем дверям квартиры деревянные дудки с резиновыми мячами на концах; отворишь дверь – дудка пронзительно свистит, и затворишь – свистит. Когда мать возвратилась домой, это страшно рассердило её.

– Что ты, дьявол, изdevаешься надо мною! – закричала она, побагровев, и, отхлестав отца по лицу мокрой, грязной тряпкой, переломала все дудки.

Чудаковато подпрыгивая, отец убежал в сад, лёг там, под липой, на траву, посмеялся и беспокойно задремал. Миронов вспомнил, как страшно было ему слушать, сидя рядом с отцом, бредовый его шёпот и как жалко было смотреть на костлявое, серое лицо милого, но непонятного человека. В тот час на его любовь к отцу легла печальная тень и возникло чувство недоверия ко всему весёлому, что рассказывал отец о своей жизни.

И тогда же он испытал одно из тех, навсегда памятных впечатлений, которые формируют душу человека: в густой листве обильно цветущей липы гудели пчёлы, этот непрерывный, струнный звук, поглощая все другие небогатые звуки знойного дня, возносился в голубую пустоту небес, превращаясь там в чудесное пение.

Миронов, удивлённый, долго, до боли в глазах, смотрел в небо и наконец, поймав там дрожащую точку, как бы тёмную звезду без лучей, догадался, что это поёт жаворонок. С того дня у него явилась потребность думать звуками, вторить всему, о чём думалось, песнью без слов.

Но за последние тринадцать дней он потерял способность заглушать думы звуками без образов, в мозг его вторглась пёстрая пыль воспоминаний, в памяти звучал глуховатый голос отца и бессмысленные окрики всегда пьяной или раздражённой матери. Её упрёки и жалобы заставили его понять, что она замужем второй раз, а первый её муж был начальником отца и стрелял в него из пистолета.

– Горе моё, что не убил он тебя! – кричала она отцу.

Он чувствовал в их жизни что-то тёмное и опасное, может быть, преступное, чего не хотел знать, о чём боялся думать, но именно оно-то и тревожило его воображение всё более настойчиво; это продолжалось до поры, пока он начал читать книги, они рассказали ему, что существуют другие, более интересные и разрешимые тайны, есть другая, лёгкая, праздничная жизнь. Застенчивый, неловкий, он не имел друзей; легко простужался, часто прихварывал, это позволило ему читать много, и пред ним возник в голубом тумане восхищения чудесный город Париж.

Отец умер весною, в саду, окапывая яблони, – Миронов вспомнил, как жутко бормотала мать, наклоняясь над трупом:

– Вот, Митя, вот... Я говорила...

Четыре года тяжёлой, стыдной жизни с пьяной матерью сделали Миронова ещё более замкнутым. Он полюбил удить рыбу, гулять одиноко в поле, в лесу, слушая пение птиц, шелест трав и листвы, странные шёпоты ветра. Особенно хорошо по праздникам слушать издали музыку военного оркестра; вблизи, когда видишь, как солдаты, надувая щёки, делают музыку, она не радует, не утешает. Иногда он брал с собою французскую

грамматику и читал её, стараясь запомнить чёткие слова, но память не удерживала их, и, не слагаясь в понятную речь, они таяли, превращались в необыкновенные сочетания красивых звуков, в голубую музыку.

Лиза Розанова понравилась Миронову в первый день пасхи, когда он увидел её одетой в голубое платье; она шла из церкви, торжественный звон колоколов провожал её, щедро освещало праздничное солнце, маленькая, стройная и в то же время пышная, как необыкновенный цветок, она была вся голубая, даже в голубых чулках.

Она жила против его дома, Миронов часто видел её, но её тонкая, плоская фигурка, остроносое, птичье лицо с круглыми глазами и капризным или болезненным изгибом бескровных губ, – ничто в ней не трогало его сердца и воображения, ему даже казалось, что эта девушка так же некрасива, как сам он. И при этом он знал, что Лиза лечится козьим молоком, противно пахучим. Но тогда, в день пасхи, он радостно удивился: как же это он не заметил раньше, что Лиза красива? И с того дня он сделал её соучастницей своей мечты о певучей, голубой жизни, она стала для него соломинкой в шумном потоке непонятного и пугающего.

Познакомиться с нею он не решался, но, возвращаясь со службы, шёл мимо дома Розановых замедляя шаги; пообедав, садился с книгой у окна и следил: не появится ли девушка на улице? Иногда она выходила и, быстро топая тоненькими ножками, шла к реке, в склад лесных материалов, к своему отцу; шла она, держась близко к заборам, как бы сохраняя возможность спрятаться в первые же ворота. На узенькой спине её вздрагивала коротенькая коса тёмных волос с голубым бантом на конце. Миронову казалось, что девушка эта, так же как он, не любит, боится людей, это ещё более сближало его с нею.

Проводив её, он подходил к зеркалу и с обидой, с грустью рассматривал в нём неподвижные, тёмные глаза, разделённые широким переносцем, левый глаз немного косил, как бы заглядывая на оттопыренное восковое ухо; над верхней губой, затемнённой чёрным пухом, опускался бесформенным комом жёлтый нос, на голове непокорно торчали вихрами жёсткие, тёмные волосы. Ему казалось, что всё у него растёт в разные стороны, всё расползается, точно корни дерева на бесплодной почве; руки слишком длинны, и неприятно тонки их пальцы, рот – велик и набит такими неровными зубами, что не хотелось улыбаться.

Вообще же он не любил смотреть в зеркало, замечая, что если смотреть долго – темнеет в глазах, отражение постепенно исчезает, возможно, что вместе с ним исчезнешь и сам.

За несколько дней до смерти матери он, неожиданно для себя, сказал:

– Ты бы, мама, посватала Лизу Розанову...

Сказав, – испугался, покраснел, чувствуя, что ему стыдно и напрасно он выдал свою тайну. Но в этот день мать была трезва и, как всегда в трезвом состоянии, немногословна. Наливая сливки в чай себе, не взглянув на сына, она бросила:

– Дурак.

И только минуты через три, вздохнув, отирая пот с багрового лица, прибавила:

– Какой ты муж? Муж должен быть – вот!

Крепко сжав опухшие пальцы в большой красный кулак, она потрясла им в воздухе.

Вспоминать о ней было тяжело; чем более думал он о матери, тем более страшной и чужой ему становилась эта женщина, грубая, задыхавшаяся от жира, с огромными, мутными глазами; ему казалось, что, думая, он действительно стирает с неё пыль и от этого она непонятнее, страшней. Так же неприятно обнажалось пред ним всё, что он пытался обдумать, понять.

Миронов тряхнул головою, оглянулся – синий сумрак в комнате стал гуще, теплее. За рекою, в розоватом небе, ярко сверкала вечерняя звезда.

По улице едет телега, нагруженная мебелью, матрацами, цветами в кадках; под пальмой, на серых узлах, сидит девушка в красной кофте и белом платке, на коленях у неё клетка с какой-то чёрной птицей, должно быть – дрозд. Из-под телеги падают в пыль пёстрые, детские кубики; рядом с тяжёлой, толстоногой лошадью шагает старичок, помахивая вожжами, и, задрав голову вверх, кричит девушке сиплым голосом:

– А – куда пойдёшь? Кому скажешь?

«Старый дурак», – мысленно обругал его Миронов.

Идёт Артамон, возчик лесного склада, коренастый, тяжёлый, как медведь; его мохнатое, безглазое лицо изуродовано заячьей губою, это сделало рот его трёхугольным и противно открыло широкие, жёлтые кости свирепых зубов; рядом с ним легко шагает тонкий, стройный столяр Каллистрат, босый, в переднике, выпачканном охрой и kleem, с тёмным ременным венчиком на светлых, курчавых волосах; под его ястребиным носом светятся золотистые усики. Накручивая на палец острую медную бородку, он, глядя в сторону Миронова, звонко говорит:

– Скука.

– Не тронь, пускай скучает, – раздаётся грубый, ревущий голос Артамона. Они идут медленно, лениво загребая ногами пыль, пыль встаёт сзади их красноватым облаком. Вся улица восхищена нечеловеческой

силой возчика и боится его, как боится странного озорства столяра.

Миронов крепко закрыл глаза; ему иногда думалось, что если глаза человека закрыты, – он становится невидим для людей.

Катились дни, быстро перепрыгивая через тёмные ямы ночей; ночи были жаркие и бессонные, а когда Миронов засыпал ненадолго – снилось странное: по широкой дороге, освещённой множеством костров, идёт неисчислимая толпа медных кофейников однообразной формы; все они на длинных ножках, и есть в них что-то общее с пауками; маленький, горбатый уродец мостит улицу, забивая в землю гвозди так плотно один к другому, что земля кажется покрытой железной чешуёй; по реке плывёт огромная рыба, заглатывая отражение луны, а луна в небе, очень тёмном, подпрыгивает, раскачивается, как маятник часов; снилось и ещё много тревожного своей бессмысленностью.

Миронов жил, не слыша тяжёлых шагов матери, её хриплых и грубых окриков, из комнат выветрился тошный запах водки, мочёных яблоков и маринованного лука; сухонькая старушка, кухарка Павловна, двигалась бесшумно, точно кошка, была молчалива и только вздыхала, присвистывая. Но всё-таки и в тишине этой жить было неловко, казалось, что все вещи, фотографии, иконы безмолвно, но строго спрашивают:

«Ну – что ж ты будешь делать?»

Миронов заметил, что так же требовательно смотрят на него и люди улицы, все они чего-то ждут, липкие взгляды их угнетали его.

В воскресенье, на закате солнца, он удил окуней, сидя на борту баржи, полузатопленной ледоходом, вслушиваясь в отдалённое пение медных труб военного оркестра; музыка и медленное движение голубоватой воды вызвали в нём желанное состояние бездумья, тёплые волны звуков ласково поднимали над землей. Если внимательно прислушаться, – течение реки тоже даёт мягкий, басовый звук, все другие звуки смываются им, но не вполне, они видны слуху, как сквозь мутное стекло. Миронов не заметил, как подъехала лодка.

– Хорошо клюёт?

Вздрогнув, он выхватил лесу из воды, – на крючке бился толстенький окунёк.

– Вот, с нами – счастье вам!

– Да.

– Много поймали?

– Три. Это третий.

Лиза Розанова в сиреневом платье, с голубой лентой в косе, сидела на

корме, а в вёслах – черноволосая, толстая подруга её, Клавдия, в розовой блузке, в синей юбке; она лениво шевелила вёслами, не давая течению увлекать лодку. Лиза улыбалась. Миронов тоже хотел улыбнуться, но, вспомнив о зубах своих, крепко сжал губы.

– Едем, – сказала Лиза.

Её подруга опустила вёсла в воду глубже, откинулась всем телом назад, одно весло сорвалось и обрызгало водою ноги рыбака.

– Ой, извините!

Лиза засмеялась стеклянным смешком, Миронов смущённо дрыгал ногами, стряхивая воду с ботинок и брюк, думая:

«Другой бы разговорился с ней, а я... Может быть, они нарочно обрызгали меня, в шутку, чтобы начать знакомство...»

Лодка сильными толчками спускалась по течению, насмешливо поскрипывали вёсла. Миронов выплеснул в реку из ведёрка воду, окуней, собрал удочки и пошёл домой, согнувшись, глядя в землю, жалея себя, а подойдя к дому, увидел, что коричневая краска фасада и ворот, зелёная – ставень выгорела, вздулась пузырями, облупилась.

«Надо перекрасить», – решил он.

Рано утром в среду лысый старичок, заносчивый и едкий, начал скоблить дом железной скребкой, ему помогал пёстро измазанный красками курносый подросток; работая, стариk пел хорошим, мягким голосом:

Он – уехал, со мной не простился...

Полюбил другую

– дискантом подпевал подросток. Миронов, разбуженный скрежетом железа и песней, лежал и думал:

«Глупо. Одному уже поздно петь про любовь, другому – рано. И почему маляры, работая, всегда поют?»

Через несколько дней, когда старый маляр начал мазать голубой краской зашпаклённый, пёстрый фасад точно оспой заболевшего дома, – посреди улицы стал монументом уважаемый Иван Иванович Розанов и строго крикнул:

– Эй, ты как это красишь?

– Как велено, – непочтительно ответил маляр.

– Почему – синим?

– Так велено.

- Это улицу безобразит!
- Не моё дело.
- Экая глупость!
- И глупость не моя.

Поливая цветы на подоконниках, Миронов слышал этот диалог, он обидел и встревожил его.

«Почему же голубой дом – безобразие и глупость? Пожалуй, откажет мне Розанов, когда я посватаюсь».

Он торопливо вышел на улицу, посмотрел на обесцвеченные солнцем и дождями домики, их связывали друг с другом серые заборы, осеняла пыльная зелень вётел, они спускались к реке двумя вереницами нищих, в одной – семь, в другой – десять, среди семи красовался одноэтажный кирпичный дом Розанова, четыре окна его смотрели на улицу неласково. Треугольник под крышей дома Миронова был уже окрашен, точно оклеен шёлком, масляно лоснился на солнце и ласкал глаз своим спокойным, синеватым цветом.

Величественно дотронувшись указательным пальцем до козырька своей фуражки, Розанов сказал:

- Непрактическая краска.
- Красивая.
- И дорогая.
- Прочная.
- Не знаю.
- Маляр говорит – прочная.

– Все маляры – врут, – строго заявил Розанов и отошёл солидный, прямой, благосклонно подставляя солнцу серьёзное лицо своё и широкую, серебристую бороду. Миронов не успел спросить его: почему маляры врут? Он ушёл домой, взял книгу и сел у окна, – тотчас же на улице снова явился Розанов с метлою в руках, начал сметать сор и пыль из-под окон своего дома к середине улицы. Маляр крикнул:

- Эй, почтенный! Ты напрасно затеял пылить, работу портишь мне.

Не отвечая, Розанов пылил. Миронов понял, что он делает это нарочно, назло, огорчился, ушёл в сад и сел там на траву под старой яблоней.

«Не выдаст он дочь за меня. Зачем я начал красить дом?»

Он слышал, что на улице маляр ругается с Розановым, следовало бы остановить маляра, но обессиливали скучные, серые думы о людях, которые так странно мешают друг другу жить, и Миронов просидел в саду до ужина.

Ночью, душной и безмолвной, ему не спалось. Раздражающе ярко светила луна, лаяли и выли собаки. На полу лежал желтоватый квадрат, и в нём чётко рисовались тени переплёта рамы окна. Вдруг в пятне света явились ещё три тёмные полосы, потом его покрыла тень человека, как будто по воздуху проплыл фонарщик с лестницей на плече. Вот – ясно слышен шорох, скрип дерева. Миронов сбросил с себя простыню, сел на постели, глядя в окно, перед окном стояла лестница, очевидно, забытая мальцом, и кто-то хочет утащить её. Миронов вскочил, осторожно открыл окно, взглянул вверх, – на верху лестницы прилепился человек, видно было его босые ноги; тогда Миронов, немного испуганный, но больше удивлённый, бесшумно вылез из окна на улицу.

Ярко освещённый луною, на лестнице стоял человек и, макая коротенькую кисть в деревянное ведёрко, висевшее на поясе у него, торопливо мазал вокруг слухового окна.

– Это – кто? – негромко спросил Миронов.

Необъяснимо легко человек соскользнул с лестницы, а его ведёрко выплеснуло на стену дома и окно тёмную жидкость; в воздухе растёкся крепкий запах дёгтя; схватив лестницу, человек отбежал прочь, но Миронов уже узнал его, – это столяр Каллистрат.

Миронов вышел на середину улицы и сквозь серебристую пыль лунного света прочитал над слуховым окном неясные, хотя крупные буквы: «Дом».

От каждой буквы тянулись книзу тёмные потоки дёгтя, и было отчётиливо слышно: шлётся о землю его тяжёлые капли. Столяр, держа лестницу на плече, стоял в шагах двадцати у ворот своего дома, хорошо было видно медный клин его бородки и чёрный венчик на светлых волосах, на лбу.

– Послушайте, – зачем вы это сделали?

Столяр не ответил, не пошевелился.

– Удивительно! То сметаной пачкаете вы, то – дёгтем...

Столяр засмеялся. Миронову показалось, что и смех его удивителен, что-то среднее между кудахтанием курицы и лаем щенка, – нехороший смех, от него всё стало ещё более непонятно, обидно. Тусклые стёкла окон блестят, как лёд, а воздух до того горяч, что как будто даже светится. И всё похоже на неприятный сон.

– Драться со мной – не пробуй, я тебя побью, – вдруг звонко сказал столяр.

– Да я и не хочу драться, – пробормотал Миронов, идя к воротам дома; столяр, приставив лестницу к забору, медленно пошёл вслед за ним.

— Что ж, рассердился ты на меня?

Звонкий голос столяра прозвучал ново и знакомо; так иногда говорил отец, соединяя в словах ласку и строгость.

— Нет, я не сержусь, но всё-таки... Зачем портить?

Столяр подошёл вплоть и ударил ладонью по плечу Миронова, рука у него была лёгкая, как птичье крыло.

— Не обижайся! Я тебе всё это поправлю. Дёготь к маслу не пристал, течёт. Это я плохо придумал, надо было сажу на керосине развести, тогда бы...

— Да — зачем же?

— Конечно — для забавы. Смешно ты придумал, — никто не красит домов такой краской.

Столяр вдруг закусил нижнюю губу, резко взмахнул головою и, прищурив глаза, вопросительно стал смотреть в небо, видимо, обдумывая что-то. Достал из кармана деревянную папиросницу, зажёг спичку, закурил папиросу и бросил спичку вверх так ловко, что огонёк, не угасая, описал в воздухе трепетную дугу. Затем он надавил ладонью плечо Миронова, этим заставил его сесть на скамью у ворот, сел и сам рядом, говоря поучительно, с насмешкой.

— Я твой расчёт понимаю — отличиться хочешь от людей. Думаешь, что если ты свободный сирота, так можешь чудить? Это ты, Миронов, оставь; чудить умеют только двое: я да чёрт, а ты ещё нашему богу — бя!

— Какому богу? — угрюмо спросил Миронов.

— Обыкновенному, скука; бог — один, али ты забыл? — сказал столяр, усмехаясь. — Ты вот что сообрази: у тебя мать умирает, то есть — человек; все соседи, будто заинтересовались этим случаем, толкуются вокруг тебя, а я начал забор сметаной мазать, и все перебежали смотреть на меня, — понял?

— Ничего не понял, — ответил Миронов, недоумённо мотнув головой. — Это — ерунда какая-то...

— Значит — плох, коли не понял. А — ползёшь на первое место. Ерунду, сирота, тоже понимать надо. Можешь ты выдумать что-нибудь вроде сметаны? То-то! А я — испытанный, меня даже судом судили за выдумки мои. Я, бывало, налью керосину в почтовый ящик для писем, суну туда зажжённую спичку, письма-то и горят, а никто ничего не понимает. Даже в газете писали: отчего письма горят? От жарких чувств, пишите хладнокровно. Глупость, конечно, молодость, ночей не спиши, всё думаешь: как отличиться? Я и теперь люблю это — озадачить людей. Забавно, когда они спотыкаются на ходу. Всё будто бы просто, а — вдруг настигло непонятное...

Столяр подкрутил кончик усов, облизнул губы, прищурив правый глаз, посмотрел левым на луну и вздохнул:

– Светило, а вот собаки не любят.

Искоса наблюдая за острым, изменчивым лицом столяра, вслушиваясь в его речь, Миронов чувствовал противоречивые желания; хотелось о чём-то спрашивать этого человека и хотелось, сказав ему что-нибудь обидное, тотчас же уйти от него. Но он сказал:

– Может быть, собаки воображают, что это лиса.

– Неизвестно, что воображают собаки, – усмехаясь ответил столяр и снова заговорил поучительно, в чём-то упрекая, предостерегая от чего-то, становясь всё более непонятным. Хвастливая речь его подавляла Миронова, он чувствовал в ней нечто досадно общее с французской грамматикой, – слова как будто знакомы, а смысл их тёмен, неуловим. Свет луны плавил сумрак в листве вётелей, листья поблескивали серебром, золотилась курчавая голова столяра, резко чернел венчик ремня на лбу его. Необыкновенны были зеленоватые глаза, насмешливые и хитрые, их острый блеск вызывал впечатление укола иглой. Человеку с такими глазами ни в чём нельзя верить. И, конечно, он издевается, его звонкий голос звучит явно фальшиво. Неожиданно для себя Миронов сказал, вздохнув:

– Вы точно сумасшедший.

– Да – ну? – воскликнул столяр.

– Что вы там написали?

– Спугнул ты меня, а хотел я написать вывеску: «Дом сумасшедшего». Хохотала бы завтра улица.

И вдруг ударив Миронова ладонью по колену, он серьёзно, деловито предложил:

– Вот что, Миронов, дай ты мне десять рублей...

Миронов сердито откачнулся от него.

– Погоди, погоди! Не прыгай, я – вещь придумал! Ты слушай: ты мне понравился. Другой бы орал, скандалил, а ты – ничего. Это, сирота, это, брат... ну, ладно! За это я желаю тебе услугить по такому расчёту: издёвка – не удалась, так я тебе удовольствие сделаю, – понял?

Теперь столяр говорил тише, без насмешки в глазах, а Миронов всё более уверенно твердил сам себе:

«Конечно, он сумасшедший, потому и озорник».

Это очень успокоило его, разрешив тяжкое недоумение; он улыбнулся, глядя на небо, слушая тихие слова:

– Куплю я красок и раскрасшу тебе этот самый дом так, что все ахнут! Я давно хочу сделать что-нибудь такое, знаешь, чтобы все люди ахнули.

— Зачем же? — спросил Миронов, но столяр, должно быть, не слышал вопроса; накрутив медную бородку свою на палец, он дёргал её и говорил:

— Я тебе прямо скажу: я всё умею делать, а работать — не люблю, потому что по моему вкусу работать мне не приходится, на мой вкус нет желающих, — понял? Вот и дай ты мне развернуться.

— Хорошо, — сказал Миронов, сообразив, что, если отказать столяру, он ещё что-нибудь испортит.

Он заметил, что обещание дать денег как будто удивило столяра; отшатнувшись, Каллистрат смерил его странно вспыхнувшим взглядом, потом, поправляя ремень на голове, пробормотал:

— Ну — Миронов, это... Ладно! Не покаешься. Утром — зайду.

Вскочил, быстро пошёл прочь, но остановясь, точно запнувшись за что-то, сказал, протянув руку в воздухе:

— Вещь сделаю! Произведение души... Ахнут!

Его фигура с поразительной чёткостью вылепилась на голубоватом фоне реки и — вдруг — исчезла. Миронов вышел на середину улицы, посмотрел на залитый рыжеватой грязью ставень окна, прочитал ещё раз надпись «Дом» и, устало опустив голову, пошёл спать, напоминая себе:

«Сумасшедший... И — жулик, наверное...»

Рано утром кухарка разбудила Миронова:

— Столяр пришёл, денег просит.

— Значит — это не во сне...

Он дал старухе деньги и, снова засыпая, подумал:

«Следует подать жалобу на него...»

Мысль эта снова явилась у Миронова, когда он, идя на службу, увидел рыжеватые жирные потёки на светлой окраске; надпись «Дом» уже совершенно расплылась, и прочитать её было нельзя. Посмотрев, он опустил голову и быстро пошёл вниз по улице, чувствуя насмешливые улыбки встречных обывателей.

«Лиза, наверное, тоже смеётся... В Париже нет деревянных домов...»

А возвращаясь со службы около пяти часов вечера, он уже издали увидел против своего дома группу мальчишек, лестницу, приставленную к фасаду, какая-то жестянка ослепительно сияла на верхней её ступени, и, всунув ногу в слуховое окно, в воздухе качался, изгибался столяр. Размахивая тростью, Миронов подбежал к дому, закричал:

— Я запрещаю! К чёрту!

Мальчишки, встретив его радостным визгом, замолчали, отскочили к забору. Со зла у него шумело в голове, он смутно видел над собою сухое

лицо столяра, его широко открытые, злые глаза и со стыдом чувствовал, что готов заплакать. А столяр как-то слишком ловко съехал с лестницы, толкнул его плечом и указал вверх кистью, красной на конце, похожей на зажжённую свечу.

– Чего кричишь? Разве плохо?

На синем треугольнике резко выделялась полукруглая дыра окна, рама из него была вынута, сбоку в окно заглядывало клетчатое, белое и жёлтое чудовище с красными плавниками, но без хвоста, с большим, выкатившимся красным глазом, белое кольцо окружало глаз. В морде чудовища было что-то общее с головою овцы, но больше оно напоминало рыбу. Притопывая ногою, столяр вполголоса объяснял:

– Их будет три, одна – с правой стороны, одна – сверху. А окно я распишу, как вентерь, и будто они в него лезут...

Рука столяра дрожала, он казался пьяным, но водкой от него не пахло, должно быть, её заглушал запах краски, – столяр очень перепачкался ею, даже на щеке у него масляно блестел красный мазок, похожий на запятую. Зеленоватые глаза его странно блестели.

– Ловко? – спрашивал он. – Красиво?

За спину Миронова посмеивались, повизгивали мальчишки, подошёл серый нищий и заныл, кланяясь, протягивая чугунную руку, у ног его сидела шершавая собака, высунув язык, склонив голову набок; казалось, что и она тоже недоумевает, глядя на яркую живопись столяра. Раздался строгий голос Розанова:

– Что ж это, – балаган будет?

Миронов обернулся, а Розанов прямо в лицо ему сказал, негодуя:

– Вам бы, молодой человек, постыдиться, прекратить безобразие это.

Как всегда, когда он чего-либо не понимал, Миронов чувствовал себя обессиленным, онемевшим. Раздражение, вспыхнув на минуту, исчезло, упрёк Розанова ещё более подавил его. Он тихо и жалобно спросил столяра:

– Слышали?

Столяр пренебрежительно махнул рукою и убеждённо, звонко сказал:

– Всякий человек может красить свой дом любой краской!

Он пошёл к лестнице, но Миронов удержал его:

– Оставьте, пожалуйста! Смеяться будут.

– Надо мной не посмеются, – сказал столяр, вырываясь, было в нём что-то исступлённое, пугающее. Миронов напомнил ему и себе:

– Дом этот – мой!

– И гони всех к чёрту!

Столяр быстро взобрался на лестницу и оттуда крикнул:

– Ахнут!

Ошеломлённо, с подавляющим ощущением физической усталости, стыда, немоты, Миронов пошёл домой, решив подать жалобу полиции на самоуправство столяра. Не раздеваясь, он сел к столу, подумал, закрыв глаза, и начал писать. Но чернила были густы, перо мазало, вместо слова «убыток», он написал «уток», бросил перо и вдруг решил сходить к Розанову, посоветоваться – что делать? Он тотчас же переоделся в праздничный костюм, пригладил волосы головной щёткой, намочив её в воде, вышел из дома и осторожно, так, чтобы его не заметил столяр, перешёл улицу.

Осторожность была излишней, он убедился в этом, посмотрев со двора Розанова в щель калитки: стоя на верхней ступени лестницы, столяр неестественно вытянулся и замазывал овечью голову рыбы синей краской; Миронову послышалось, что он рычит.

«Сегодня он портит дом, а завтра может поджечь его, – что ж мне делать?»

– Вам – чего? – недружелюбно спросил Розанов; он стоял на крыльце, приглаживая пальцем густые брови. Сняв фуражку, Миронов подошёл к нему и торопливо, негромко объяснил, зачем он пришёл. Ему было обидно и неудобно стоять ниже Розанова, в лицо его заглядывал, ослепляя, луч заходящего солнца, Миронов морщился, переступал с ноги на ногу, размахивал рукою, противно скрипели новые подтяжки, а Розанов смотрел на него, как священник с амвона, готовый начать проповедь.

«Лицо у меня, должно быть, неприятное. Почему старик не зовёт в комнаты?»

Глядя круглыми глазами кота поверх головы его, Розанов пренебрежительно заговорил:

– Какая же нужда была связываться с негодяем этим? Он – озорник; живи он в деревне, его бы общество в Сибирь сослало. А у нас – законы спят, каждый безобразит жизнь, как хочет...

Миронов заметил в окне, среди зелени цветов, знакомый тёмненький глаз, этот подслушивающий глазок вызвал у него желание сказать что-нибудь значительное, и, взволнованный, он сказал:

– Я думаю – столяр сумасшедший.

– Ваше дело. Думайте, а я помолчу.

Сконфуженный Миронов поклонился в спину ему, подтяжки скрипнули особенно громко, он искоса взглянул в окно, – неужели Лизин глаз слышал этот скрип? Но глаз уже исчез...

«Необыкновенно глупо всё», — с досадой и унынием подумал он, выходя на улицу; среди улицы стоял столяр; задрав голову, схватив себя за бороду, он смотрел на свою живопись; когда Миронов поравнялся с ним, он сказал, вздохнув:

- Нехорошо.
- Нехорошо, — повторил Миронов.
- Скука!

И тихонько, неприлично выругавшись, столяр стал жаловаться, не скрывая злости:

— А ведь задумал я отлично! Рыба погубила меня. Хотел особо угодить тебе, — ты любишь рыбачить. А надо было цветы писать, цветы пишу замечательно. И зайцев...

Миронов, на что-то надеясь, взял его под руку и повёл к воротам дома.

— Послушайте...

— Чего тут слушать? Стыдно мне, Миронов, — ты этого не можешь понять...

— Нет, я, кажется, понимаю...

— Не можешь. Водка есть у тебя? Дай ты мне водки! Конечно, я всё это перепишу, не беспокойся...

Неясная надежда Миронова исчезла; он сердито крикнул в окно кухни, чтоб Павловна дала водки, и присел на скамье, у крыльца, а столяр уселся на нижнюю ступень, опираясь локтями о свои колена, засунув пальцы рук в светлые волосы. Чёрный венчик, перерезав лоб, съехал на брови его, подчеркнув их золотистость. Кухарка вынесла графин водки, настоящей на рябине, кусок пирога; столяр посмотрел на Миронова, усмехнулся и вполголоса заговорил:

— Скажи мне, Миронов, бывает это? Я тебя оскандалить хотел, в убыток ввёл, а ты мне слова обидного не сказал и — угощаешь! Бывает это?

— Я не знаю, — ответил Миронов неохотно, обдумывая, как бы заставить столяра отказаться от раскраски дома.

А тот, выпив одну за другую две рюмки сразу, продолжал, понизив голос до шёпота:

— Ну, так я тебе скажу: не бывает! Люди, брат, пауки друг другу, да! Одни — пауки, а другие — дураки, понял? Хороший человек, например, всегда несколько дурак.

Это обидело Миронова, он хотел ответить резко, но мог только повторить вызывающим тоном слова отца:

— Бог дураков любит.

Столяр утвердительно кивнул головой:

— Это — так, сирота, бог — не без хитрости, это верно! Я знаю, я всё обдумал. Ты мне верь. Ты вот не понимаешь, какую поймал рыбу, а я тебе — навеки друг! Ты — что сделал? Ты мне, кротостью своей, совесть души устыдил...

Снова, как днём, лицо столяра сделалось исступлённым, а зеленоватые глаза его увлажнились; тыкая пальцем в переносье, с боков его, он выжал две слезы.

В начале изъяснений столяра Миронов не чувствовал ничего, кроме скуки и досады, но эти непонятные, тугие слёзы изумили его. Вытирая платком пальцы, облитые водкой, он смотрел, как мигают странные глаза, дрожат закрученные медные усики, видел, что на лбу, на висках столяра выступил пот, и, не отдавая себе отчёта в том, что делает, он вытер платком белый, потный лоб соседа. Тогда — изумился столяр, с минуту он молча смотрел на Миронова, потом, усмехаясь, спросил:

— Это зачем ты?

— Пот.

Столяр тихо засмеялся, затрясся и, топая ногами, бормотал сквозь смех:

— Да, — разве я дитя, чтоб мне лицо вытирать, а?

— Я — нечаянно, — объяснил Миронов.

— Нет, ты... Ну, ладно, будет! Завтра я всё перекрашу, будь покоен.

— Нет, пожалуйста, не надо красить!

— Не надо?

— Да, не надо!

Столяр глубоко вздохнул, глядя в землю.

Встал, протянул руку:

— Извиняй меня...

И пошёл, припрыгивая, точно вдруг охромев, видимо, одна нога у него замерла, отсидел. Остановясь у ворот, он окинул взглядом двор, густо заросший сорными травами, и наконец ушёл, громко хлопнув калиткой.

Миронов остался на дворе, сидя неподвижно, чувствуя себя опустошённым и желая только одного — забыть всё это. Его даже не радовало, что скандал с раскраской дома так неожиданно и благополучно кончился.

«Какой невозможный», — лениво подумал он о столяре.

Поздно вечером, когда уже потемнела зелень деревьев и птицы заснули в гнёздах, Миронов вышел в сад и лёг на траву под яблоней, глядя в небо сквозь пыльную сеть листвы. Трудно было понять, почему из синеватой,

льдистой чаши небес изливается на землю столь тяжёлая духота. Бледненький осколок луны таял над яблоней. В пыльном воздухе лениво плавали голоса людей, истомлённых дневной работой и зноем; эти голоса мешали Миронову, он любил погружаться в тишину, как в воду, а для этого необходимо, чтоб тишина была совершенной, тогда он чувствовал себя свободным, лёгким, качался, плыл, и в нём возникала приятно певучая, бесконечная дума, лишённая слов, форм, образов.

Тогда небо, земля и всё на ней как бы плавилось, таяло, медленными волнами текло куда-то, кругами поднималось беспредельно вверх, сам он весь звучал, и в то же время его не было, был только тихий полёт.

Он не знал, не испытал ничего лучше и таинственнее этого бездумного, певучего подъёма земли к звёздам и с ними всё выше, туда, где, вероятно, обитает некое величественное и необыкновенно ласковое существо, — оно-то и есть неиссякаемый источник этой опьяняющей музыки. Образ Саваофа на золотом троне, в окружении херувимов и серафимов, поющих «Осанна», не удовлетворял его, он давно уже был равнодушен к богу земных храмов, чьё имя ежедневно призывают в помощь себе миллионы людей, но чья сила не заметна в жизни. С некоторого времени у него даже смутно мелькало подозрение, что всем известный бог отказался от людей, а вместо него действует другой, насмешливо испытующий озорник, какая-то злая выдумка, вроде дьявола.

Но когда он пытался вообразить творца музыки мира, пред ним, ещё девственником, возникал из голубого тумана образ нагой женщины, тело её возбуждало жуткое, трепетное желание, от силы которого сердце так замирало, как будто он стремительно падал на землю, ощущение полёта, певучести грубо обрывалось, и тотчас же память показывала ему одну за другую всех девушек и женщин, которые когда-либо привлекали его внимание. Эти падения были так же неприятны, как неизбежны, они всегда будили тягостные чувства зависимости, стыда, страха и острого любопытства; поэтому Миронов избегал вызывать образ женщины надзвёздных высот, образ, красота которого сбрасывала его на землю.

В этот вечер он не мог вызвать ощущение полёта, что всегда легко удавалось ему. Против воли являлись мысли, требуя ответов. Слышала Лиза, как скрипнули дурацкие подтяжки? Отец её не любит людей, строго судит их, властно вмешивается в жизнь их, — за это все уважают его... Как нужно жить, чтоб никто не мешал? И особенно настойчиво думалось о столяре, его странная фигура неотвязно торчала перед глазами и тоже требовала объяснения себе.

— Глупо и глупо всё, — вслух проговорил Миронов и, чтоб отогнать от

себя тревожное, закрыл глаза, улёгся удобнее и начал вполголоса читать диалог пьесы, прочитанной час тому назад.

О да, в известном отношенье
Бык может быть приятнее орла.
– Бык – это я?
– Да, сударь, если вам угодно.
– Я – оскорблён!
– И что же дальше?
– Я – оскорблён!
– Мне кажется, что злее всех природа
Вас оскорбила, сударь мой.
– Я, по природе, дворянин!
– Тогда оскорблено дворянство...

– Двор – зарос, сад – запущен, – раздался звонкий голос столяра; он стоял над головой Миронова, одетый в розовую рубаху, неподпоясанный, с расстёгнутым воротом, в полосатых подштанниках, босый; волосы его были встрёпаны, как будто он только что проснулся, чёрный поясок ремня съехал на ухо.

Миронов приподнялся, сел, упираясь в землю руками.
– Как это вы?..
– Через забор перелез. Надо сказать Артамошке, чтоб он сад и двор прибрал, почистил; он это любит. Пускай побалуется вечерами.

Опустясь на колени, столяр протянул руку.
– Возьми, это – остаток. На шесть рублей я красок купил и две кисти, это я тоже тебе отдам, годится.

– Не надо мне, – тихо, с досадой сказал Миронов.
– И мне не надо.

Столяр положил деньги на траву у корня яблони, сел рядом с Мироновым, заглянул и лицо ему.

– О чём думаешь?
– Ни о чём.
– О девицах?
– Нет.

Сорвав травинку, почёсывая ею свой выпуклый лоб, столяр озабоченно и поучительно сказал:

– С девицами – будь осторожен. Бойкая – тебя замордует, с тихой –

пропадёте оба.

Миронов молчал, покачиваясь, думая:

«Не стану отвечать, он и уйдёт».

— Я всё о тебе думаю, задел ты меня, Миронов! Растревожил. Что ты тут бормотал, колдовал?

— Так. Стихи.

— Удивляешь ты меня, Миронов.

— Никого я не хочу удивлять.

— Удивляешь.

В словах столяра звучало что-то неодобрительное и даже как будто угрожающее, Миронов поджал ноги. Что сказать этому человеку? О чём, вообще, говорить с ним?

— Жарко, — сказал он.

— Верно. А всё-таки о чём ты думаешь?

— Думать я не люблю, — я люблю, чтоб всё было тихо.

Он хотел сказать это сердитым голосом, но почувствовал, что сказалось виновато. Тогда он добавил:

— Вот — в небе светло и тихо, а когда облака...

Он не кончил, услыхав, что говорит хотя и громко, а жалобно. А столяр, икоса взглянув в небо, сказал:

— В небе, Миронов, пусто, оттого и тихо.

— А — солнце, луна? И звёзды. Там, может быть, есть и такое, чего мы не видим.

Столяр сомнительно покачал головою:

— Не похоже, чтоб ты в бога верил, в церковь — не ходишь...

Этими словами он помог Миронову рассердиться, вызвал у него желание говорить обидное, но память не подсказывала обидных слов, и он угрюмо пробормотал:

— Отец мой в бога не верил...

— Это многие допускают.

— А о думах говорил, что они — пыль, от них только темнеет всё...

— Ну? — удивился столяр. — Так и говорил?

— Да. Я теперь сам вижу: мысли — как черви, нароешь червей, они возятся, извиваются...

Наклонив голову к плечу, отщипывая ногтями верхушки травинок, столяр слушал и ухмылялся, двигая усами.

— Когда думаешь, так кажется, что в тебе — двое, один — знает, другой — путает. А я не хочу думать. Душа не любит думать.

— Ну, это ты, пожалуй, неразумно говоришь, Миронов...

– И – чего знать? – продолжал Миронов, надеясь подавить столяра, напугать его, обидеть, вообще – оттолкнуть, чтоб он ушёл. – Всё известно: рождаются, женятся, народят детей, умрут. Пожары, воровство, убийство. Цирк приехал. Крестный ход, жена сбежала. Пьяные дерутся. Капусту квасят или огурцы солят. В карты играют… Зачем это мне? Не хочу я ничего этого!

– А – чего же тебе надо? – спокойно спросил столяр, и это его спокойствие тотчас охладило Миронова, он сказал невнятно:

– Я тишину люблю.

– Так ты бы глухим родился. Трудно понять тебя, Миронов!

– Я вас об этом и не прошу…

Сказав так, Миронов искося, опасливо, но и с надеждой взглянул на столяра, – обидится, уйдёт?

Столяр водил рукою в воздухе, тени листьев яблони ложились на ладонь его и, погладив её, падали в траву, трава темнела, становилась бархатистее, столяр смотрел на неё и молчал. Вздохнув, Миронов тоже подставил ладонь лучам луны и теням; с минуту они оба сидели, протянув руки в пустоту, как слепые нищие. Потом столяр заговорил звонко и бодро:

– Нет, Миронов, ты меня удивить не можешь! Словами – нельзя меня удивить, а синий твой дом – это, брат, на смех, а не на удивление…

– Ах, идите вы к чёрту, что вы пристали ко мне?

Столяр усмехнулся, тряхнул головою, подмигнул.

– Характер показываешь?

Глаза его улыбались ласково, он поправил ремешок на голове, не торопясь закурил очень едкую папиросу, лента серого дыма протянулась в воздухе.

– Я понимаю, Миронов, тебя скука давит. Это – от возраста. Привычки к жизни ещё нет у тебя, а возраст требует радости. Для радости девицы служат, ну, серьёзному человеку это ненадолго. Вообще для радости причин мало…

Поучительный тон столяра снова вызвал раздражение Миронова, – мастеровой, малограмотный, не читающий книг, а говорит, говорит…

– Всё надо изменить, переделать, – сказал он тоже поучительно.

– Это ты насчёт политики? – спросил столяр и сдул пепел с папиросы. – Нет, политическое меня не занимает. Мне хочется сделать вещь, произведение души, чтобы вполне отлично было, и пусть люди ахнут…

– Укусите губернатора, – сердито предложил Миронов.

Столяр, мигнув, спросил:

– Как говоришь?

– Укусите губернатора. В церкви, за обедней, – все и ахнут...

Хлопнув рукою по колену своему, столяр засмеялся.

– Ты не сердись, чудак! Интересный ты всё-таки. Запутался, а – интересный. Да, брат, Миронов, скучно всем, каждому хочется удивить себя и другого, а удивить-то нечем... И уменья нет удивлять. И думать не стоит тебе, умишко у тебя несчастливый. Бессловесный, вроде как – немой. Иди-ка, спи! Кто спит – тот сыт.

Столяр воткнул окурок папиросы в землю, легко, пружинисто поднялся на ноги и, не простясь, пошёл к забору, повторив с явной насмешкой:

– Кто спит – тот сыт...

Слушая, как доски забора трещат под тяжестью его тела, Миронов удовлетворённо подумал:

«Больше не придёт, обиделся. Хорошо я сказал ему о губернаторе...»

Он тотчас увидел в голубом дыму ладана, впереди двуцветной массы голов большую, ушастую, лысую голову его превосходительства, начальника губернии, к нему осторожно подкрадывается столяр, и вот он вцепился наглыми, мелкими зубами в красное ухо генерала; люди в храме гулко ахнули, так гулко, что пошатнулось пламя всех свечей; столяра схватили, тащат, бьют...

Миронов засмеялся, но – снова затрещало где-то, и, уверенный, что это столяр подсматривает за ним через забор, он, искусственно кашляя, согнувшись, не оглядываясь, ушёл из сада.

На другой день он увидел, что чудовище под крышей закрашено тёмно-синей краской, этот густой цвет сделал треугольник над окнами тяжёлым и как будто приплюснул к земле голубой дом. Рыжие пятна и потёки дёгтя на стене, на ставне окна тоже были замазаны, хотя и не в тон общей окраске, светлой, шелковистой.

«Вот как, – сдержал слово!»

Глядя вверх, Миронов попытался представить, как столяр держит слово; это, должно быть, очень трудно, – в каждом слове заключено стремление вызывать из памяти однозвучные слова и, цепляясь за них, разбухать, расплываться в дымные, бессвязные мысли. Вот – небо, простое слово, но влечёт за собою – не боюсь! Или: надоел – надо есть.

Миронов покачал головою и пошёл домой обедать.

Тотчас же, как только он сел за стол, громко хлопнула калитка и на двор тяжело ввалился возчик Артамон, с косой и железной лопатой на

плече; остановясь у крыльца, он приставил косу и лопату к стене, перекрестился, поплевал на ладони, крякнув, взял косу и легко, точно кнутом, стал размахивать ею, срезая со свистом лопухи, пырей, полынь.

Миронов встал и, прячась за косяком окна, смотрел на его работу.

«Распоряжаются, как у себя...»

На волосатом лице Артамона в красной дыре треугольного рта свирепо блестели зубы; маленькие, медвежьи глаза хитро спрятаны под бровями, широкий нос тоже скрыт в усах и буйной бороде, всё это было неестественно, и казалось, что у Артамона нет лица. Двигался он так тяжело, точно лез сквозь невидимый, но густейший кустарник.

«Артамона выдумал столяр, чтобы люди ахнули...»

В несколько минут возчик скосил весь бурьян, остановился в углу двора, держа косу, точно копьё, поглядел в небо и снова стал креститься, стукая пальцами в широкие плечи и выпуклый собачий лоб. Миронов вынес ему чайный стакан водки и котлету на куске хлеба, подал и сказал тихо:

– Спасибо.

– Спасибо, – повторил Артамон, не выговаривая губных звуков, запрокинул голову, вылил водку в разодранный рот, сунул туда половину хлеба и мяса, поглядел на остаток, сунул и его, проглотил, потом сказал густо и невнятно:

– Теперь – в сад.

– А сколько возьмёшь?

– Ну-у, я для потехи.

И ушёл, тяжко переступая короткими ногами в пудовых сапогах, набелённых известью или мукой.

Через час, заглянув в сад, Миронов увидал, что вся трава уже скошена, Артамон стоит под яблоней и гладит рукою сучки её; увидав хозяина, он крикнул:

– Эй!

Миронов подошёл и осторожно остановился, не допускаемый дальше сердитым рыком.

– Хозяин! Гляди – лишая сколько. И гусеница. Стволы-те намазать надо, для того мазь есть. Деревья-те давно бы окопать надо, навозу подложить, хозяин, драть те с хвоста!

Рыча, он протягивал Миронову ладонь с растопыренными пальцами, они были испачканы отвратительной слизью раздавленных гусениц. Миронов брезгливо вздрогнул, отшатнулся.

– Да ты не бойся меня, я к тебе ласковый, меня Каллистрат прислал,

чего дрожишь? Экие вы все, какие...

Без губных звуков оглушающая речь возчика была ещё неприятней и в то же время напоминала лепет ребёнка.

— Я тебе всё налажу, я это люблю, — говорил он, отирая испачканную руку о голенище сапога; ему, видимо, трудно было сгибать широкую спину, наклоняясь, он кряхтел. Миронов смотрел на него со страхом, не зная, что сказать.

— Где Крюков? — спросил он, чтоб сказать что-нибудь.

— Каллистрат? К нему — не подходи, он, чудило, озлился на тебя за то, что ты ему дом покрасить не дал.

И, открыв страшный рот свой, возчик трижды охнул:

— О-хо-хо!

Это был звук средний между «о» и «у», он напоминал гул зимней выюги в трубе печи, заставил Миронова пугливо съёжиться, спрятать голову в плечи и сказать негромко:

— Ты сильнее его.

— А — сильнее, конечно! Я в цирке показывался, боролся там, да они мне пальцы выломали, а то бы я их всех там... Они ведь не силой живут, — хитростью...

Легко, как в масло, он втыкал лопату в сухую землю вокруг ствола яблони, выворачивал тёмно-рыжие комья, в них извивались черви.

— Меня тут за силу все боятся, а я к людям ласковый и говорить люблю. Голос обязывает меня пугать людей, а то бы... В прошлом году ногу я переехал колесом одному, стали меня судить, судья кричит мне: «Тише!» — а я — не могу, он и оправдал...

— Ты — женат?

— Ну! Кто, дура, за меня пойдёт? Гляди, губа-то какая у меня.

Миронов знал, что горожане относятся к мужикам со смешанным чувством презрения и вражды; так же относились к ним отец, мать, это чувство с детства было привито и ему, но Артамон возбуждал в нём только удивление, страх и некую неясную надежду.

«Если его приласкать, тогда столяр...»

— Работает? — спросил с высоты звонкий голос столяра; он с папиросой в зубах сидел на столбе забора, свесив в сад босые ноги, над светлой его головою колебалось дымное облако, и чётко был виден венчик ремня на белой коже лба.

«Ох, — мысленно воскликнул Миронов. — Опять будет высасывать меня...»

— Послушайте, Крюков, — заговорил он, выпрямив сутулую спину,

размахивая рукою, — что вам нужно? Я вовсе не хочу...

Раздражение, нервно стискивая ему горло, мешало говорить, он задыхался, а сверху снова упал вопрос:

— Чего не хочешь?

— Вы — не смеете... я жаловаться буду!

— На меня? За что?

Спокойные вопросы ещё более раздражали; топая ногою, Миронов взвизгивал:

— Я не хочу, чтоб тут косили, рыли...

Легко, как птица, столяр спустился по воздуху в сад, схватил Миронова за плечо и, покачивая его, внушительно сказал:

— А ты — опомнись! С ума сошёл? Тебе работают даром, ты, неуч, благодарить должен, а ты...

Но Миронов уже и сам был смущён взрывом своего негодования, рука столяра точно воткнула его в землю и выдавила из него гнев. Он видел, что возчик, опираясь на лопату, ещё шире открыл свой рот и чего-то ожидает.

— Я — понимаю, — пробормотал он.

— Понимаешь, а — орёшь?

— Я, конечно, благодарю...

— То-то!

Столяр ткнул его пальцем в грудь, отошёл прочь к Артамону и стал строго говорить возчику:

— Сучки подвяжи, понял? Малину, которая посохла, — прочь!

«Действительно — работают даром», — сообразил Миронов и, в благодарность за труд, решил угостить этих людей.

Через полчаса он сидел с ними в кухне за столом, кипел самовар, блестела водка в графине, стояли тарелки с маринованными грибами, квашеной вилковой капустой, Артамон пил водку и чай, как телёнок молоко, много ел, противно чавкая, мычал и посапывал, а столяр, ловко вылавливая вилкой самые маленькие и красивые, скользкие грибы, брал рюмку двумя пальцами, смотрел водку на свет, прищуривая глаз, а выпив, морщился и говорил:

— Х-ха!

Нельзя было не заметить, что он всё делает как-то особенно легко, ловко и по-своему. Неприятный человек, но — интересный. И едва ли он сумасшедший. Нет, он — хитрый.

— Человеку, который нравится мне, я могу сделать всякое удовольствие, — говорил столяр, держа рюмку двумя пальцами, брезгливо оттопырив три. — Однакож я прямо скажу: люди мне не нравятся, люди —

глупы.

– О-у, дьявол, – рычал Артамон, отвалясь к стене, выпятив нечеловечески широкую грудь.

– Сам я – умный. Я – способный. Всё могу, всё умею сделать, ну, только у меня к простым делам интересу нет...

Миронов, выпив две рюмки водки, противной ему, чувствовал туман в голове и сквозь туман молча слушал хвастливые, как всегда, слова столяра, не чувствуя ничего, кроме скуки, сосущей сердце. Ему стало очень неприятно, когда Артамон, задремав, громко всхрапнул и, тотчас же проснувшись, испуганно, виновато взглянул на столяра, а тот, подкрутив пальцами обеих рук свои золотистые усыки, сказал возчику:

– Ну, ступай домой; наелся, напился, верблюд...

Артамон покорно ушёл, а столяр заявил, что желает посмотреть комнаты; Миронов тоже послушно, как возчик, привёл его в свою спальню, светлую, с окном в сад и другим на улицу; там столяр, нахально ткнув кулаком в постель, сказал:

– Мягко спиши.

Затем, посмотрев на полку, где стояли книги, спросил:

– Читал?

– Читал.

– Все?

– Все.

Миронову показалось, что вопросы нежеланного гостя звучат насмешливо, а поведение его становилось всё более бесцеремонным. В маленьком зале со множеством цветов на подоконниках трёх окон и на двух фигурных лесенках, искусно сделанных отцом, столяр молчал с минуту, прочно утвердясь среди комнаты, потом сказал:

– Жениться надо бочно тебе.

Все вещи как будто протестовали против этого гостя, босого, с ремнём на голове, сухо скрипели половицы, дребезжало стекло лампы на столе, позванивало в шкафе с праздничной посудой, с подарками знакомых и отца-матери. Миронову было обидно, что столяр смотрит на всё, как на известное ему и обыкновенное, ничему не удивляясь, ничего не хваля.

«Конечно – завидует, но притворяется, что равнодушен, чёрт...»

Стекло в шкафе зазвенело громче – это столяр постучал пальцами по дверце.

– Глобус?

– Да.

– Вещь знакомая. Примерное изображение земли. Почему – медный?

– С музыкой.

– Не бывает, – сказал столяр, отрицательно покачав головою, и потребовал: – Покажи!

Миронов открыл шкаф, поставил глобус на стол и начал вертеть его; некоторые шпеньки уже выпали, другие – стёрлись; в стальной гребёнке не хватало зубцов, но всё-таки ещё можно было разобрать, что земной шар, вертаясь вокруг оси своей, тренькает устало:

Чижик, чижик, – где ты был?

Столяр отшатнулся от стола, прислушался и негромко спросил:

– «Чижик»?

– Да, – ответил Миронов, грустно улыбаясь своим воспоминаниям и всё вертя глобус. Тогда столяр остановил руку Миронова, сам пощупал континенты, океаны, щёлкая ногтем медь, сел на стул, подумал.

– Это – откуда у тебя?

– Отец сделал.

– А почему – «Чижика» играет?

– Песня – детская, я маленький был...

– Так, – сказал столяр и, засунув в рот свой конец бороды, стал задумчиво мять его губами. Потом выдул бороду изо рта, точно струю огня, и, щёлкнув пальцем по Ледовитому океану, усмехнулся:

– Это штука забавная. Только – «Чижик», пожалуй, не соответствует инструменту, на нём – учатся, а тут – «Чижик». Ерунда! Что ж, отец – умный был?

– Да. Очень. Он был весёлый...

– Чудаки, – сказал столяр, всё присматриваясь к глобусу. И, вздохнув, поглаживая медь пальцем, окрашенным политурой, суховато и насмешливо заговорил:

– Просто, а – премудро: капля воды, несколько кусков земли, и обучают, что это висит в воздухе. Замечательно. И предполагается, что живут на этом шарике миллионы людей, а? Ловко догадались. Ты, сирота, веришь?

– А – как же? Ведь и я тут живу и вы, – скучно ответил Миронов.

Столяр встал, протянул руку.

– Ну – спасибо. До увиданья...

В кухне он остановился, схватив себя за бороду, и, усмехаясь, сказал:

– Вся штука в размере головы твоей, но, между тем, – а? Очень

замечательно! Ну, всё-таки, «Чижик» – не подходяще! Это, сирота, тоже озорство и расчёт на удивление. Всё равно, как свистнуть за обедней. Тут не «Чижика» надо, а, например, «Господи – помилуй». Или – церковное, или – военное, солдатский марш, – трам-бум, трах-такс-такс...

Так, напевая марш, он и ушёл, столяр.

«Иди ты к чёрту!» – мысленно крикнул Миронов вслед ему.

Возвратясь в комнату, он хотел поставить глобус в шкаф, но заметил, что часть Северной Америки, лопнув, отклеилась, загнулась к югу.

– Это он содрал ногтем, болван!

Помуслив палец, Миронов привёл континент в должный порядок и повернул земной шар на оси, – раздалось тихое треньканье, зазвучала детская песенка, искажённая временем. Миронов вздохнул, думая:

«Пожалуй, это – верно. Лучше бы другое что-нибудь. А – что?»

Вспомнились песни, тоже неподходящие:

По улице довольно грязной,
Шатаясь, шёл наш друг Иван
Довольно пьян...

Вспомнилась любимая песенка отца:

Семь су,
Семь су,
Что нам делать на семь су?

Какие ещё есть песни?

Я хочу вам рассказать, рассказать, рассказать...

Кусок Северной Америки снова отклеился, – странно было видеть, как голубоватая бумажка сама собою пошевелилась и завернулась стружкой.

«Завтра подклеку гуммиарабиком. Почему столяр сказал, что надо бы «Господи помилуй»? Ведь он, конечно, тоже не верит в бога...»

Облокотясь на стол, почти касаясь глобуса лбом, Миронов безвольно отдал себя медленному потоку смутных, непривычных дум.

Голубой фасад дома и ставни окон мальчишки забросали грязью, исцарапали краску черепками, начертив неприличные слова; на верхней филёнке калитки кто-то, очевидно – взрослый, трудолюбиво написал свинцовым карандашом:

«Сей дом вверх дном живёт в нём, дурак».

Когда Миронов впервые прочитал это изречение, он обиделся, но, заметив, что запятая поставлена безграмотно, успокоенно подумал:

«Сам ты дурак!»

Улица всячески показывала, что голубой дом противен ей, но это не тревожило, не раздражало Миронова, – он жил подавленный другим, более тяжёлым и серьёзным. Столляр и возчик прилепились к нему, как две тени; Артамон, являясь почти каждый вечер, мёл двор, колол дрова, работал в саду и рычал; а столляр, явно чувствуя себя владыкой в доме, распоряжался починкой служб, наставлял безмолвную старуху Павловну в домоводстве; слушая его звонкие, строгие слова, она виновато наклоняла голову, а когда он отходил от неё, – быстро и незаметно крестилась. Это Миронов наблюдал не один раз, и это, заставляя его улыбаться над глупостью старухи, углубляло неприязнь к столяру.

Он чувствовал, что столяр затемняет его мечты о голубой, бездумной жизни, воздвигая перед ними почти ощутимую преграду неясных опасений, толкает его куда-то в сторону и в угол. Однажды он осмелился сказать столяру:

– Пустяки всё это...

– А ты – ну-ка, попробуй, поживи без пустяков-то, – строго ответил столяр.

Миронов начинал думать об этом человеке почти со страхом. Смутила ловкость движений столяра, – как-то уж слишком легко он двигался по земле. А тогда, в саду, – как плавно, птицей опустился он с забора, по воздуху! В памяти Миронова осело и тяготило её тревожное предчувствие чего-то необыкновенного, и когда он думал о Каллистрате, в ушах его раздавался скрип половиц, тихий звон стекла. Почему, когда он сам входит в зал, всё в нём остаётся неподвижно, а когда вошёл столяр – заскрипело, зазвенело? В колдунов Миронов не верил, но слышал и читал о людях, обладающих особенной, таинственной силой, и ему казалось, что скоро, может быть, завтра же, наступит день, когда столяр обнаружит эту силу, – страшно обнаружит.

День этот наступил всё-таки неожиданно, – в воскресенье вечером столяр пришёл с девицей; толстенькая, на коротких ножках, она ослепила Миронова пунцовой, шёлковой блузой и жадным блеском множества

мелких зубов, хотя рот у неё был маленький, точно рот окуня. Её надутые щёки пылали багровым румянцем, на пальце левой руки блестел розовый камешек, Миронову показалось, что и глаза у неё розовые, как у белой мыши...

– Зовут Серафима, – сказал столяр, подталкивая её к Миронову, – отличная девица!

Она улыбалась, от неё исходил раздражающий запах. Когда она села на стул, белая юбка её, туго натянувшись на огромных полуушариях бёдер, приподнялась, обнаружив круглые, беспокойные ноги, она тотчас начала шаркать по полу подошвами, постукивать каблуками. Её тёмные волосы гладко причёсаны, заплетены в косу и, сложенные на затылке калачом, укреплялись большим, жёлтым гребнем, – это напомнило Миронову курицу.

– Фу, как ужасно жарко! – сказала она, обмахивая раскалённое лицо своей белым платочком.

Столяр нарядился в серый парусиновый пиджак, в синюю рубаху косоворотку с вышитой грудью, его суконные шаровары были заправлены за голенища ярко начищенных сапог, он, видимо, начистил и медную бородку свою, курчавые волосы на голове его извивались, как языки огня. Сухое, ястребиное лицо было строже и беспокойнее, чем всегда, зеленоватые глаза ядовито блестели, всё видя, всё понимая.

– Не избалована, понимает в хозяйстве и, видишь, в теле, – говорил он, следя, как отличная девица разливает в стаканы чай, а она густым, сладким голосом спрашивала Миронова:

– Вы – как любите, – крепко?

Миронов сидел против её, согнувшись над столом, он чувствовал, что у него дрожат глаза, кривятся губы и что ему неудержимо хочется высунуть язык и облизывать губы так же, как это делала отличная девица, слизывая варенье с ложки. Он нарочно улыбался, – пусть эта курица видит, как некрасивы его зубы.

Губы у неё очень красные, толстые, какие-то двухэтажные, они обсасывают косточки вишен добела, такие губы могут высосать всю кровь из человека. Слова столяра: «понимает в теле» и её вопрос: «вы любите крепко?» заставили его покраснеть, вызвав в памяти непристойные собачьи игры, он нарочно задел ложкой край стакана, опрокинул его, вылил остывший чай на колени себе, вскочил, выбежал на крыльцо, – дождь лениво кропил горячую землю, тихонько звенела листва деревьев, сизоватые тучи, суживая пространство, сгущали духоту.

«Он хочет женить меня на этой», – думал Миронов, ловя ладонями

крупные, редкие капли дождя, растирая их, и чувствовал в воздухе раздражающий запах пота девицы, этот запах вызывал у него вместе с отвращением ещё иное чувство, тоже тяжёлое, но влекущее к ней.

– Не ожёгся? – спросил столяр, являясь на крыльце.

– Послушайте, – тихо, торопливо заговорил Миронов, прижав ладони к своей груди, – я не хочу жениться, пожалуйста – не надо!

Он вспомнил слова матери и – обрадовался, повторяя их, подняв кулак:

– Какой я муж? Муж должен быть – вот! И вы тоже говорили... Уведите её! Я лучше дам ей двадцать пять рублей и вам, если хотите, даже пятьдесят, – серьёзно!

У него подгибались ноги, он чувствовал, что готов встать на колени перед столяром, а тот, стоя выше его на ступень, держа себя рукою за бороду, безжалостно усмехался и говорил неотразимо:

– Совсем одичал ты, Миронов, скука! Нет, женить тебя – обязательно! Ты тут заболтался в книжках, сирота, замечтался, у тебя кровь к голове приливает, ишь ты – какой, даже посинел! И губы трясутся – отчего? От этого самого, – пора жить законно! Заведёшь жену, пойдут дети...

– Не могу, не хочу я...

– На это тебя хватит, а удивлять людей – не пытайся, удивить тебе нечем! И – обжулят тебя вскоре...

Миронов опустил голову, а столяр взял его за руку, поднял к себе и, стряхивая с него пылинки дождя, говорил:

– Я – людей знаю! Покажут тебе, будто ты замечательный, будто они тобой интересуются, и – ограбят, обманут. Это – самое обыкновенное...

Закрыв глаза, Миронов видел, как по улице бежит табун мальчишек, швыряя жидкую грязью в голубые дома, все они – его дети, а отличная девица, сидя у окна, жуёт мочёные яблоки и пироги с рыбой, – он терпеть не мог мочёных яблок и этих пирогов.

Потом он снова сидел против Серафимы, она как будто ещё более вспухла, мячи её грудей тяжело поднимались, опускались, шевеля пунцовий, скрипучий шёлк; её маленький, круглый рот устало открылся; в пальцах, похожих на сосиски, она держала беленький комок платка, часто отирая им потные виски, розовые глаза её улыбались, таяли; Миронов подумал, что пот её густ, как патока, такой же липкий, и, вероятно, ни комары, ни блохи не решаются кусать её резиновое тело.

А столяр, наливая в чай вишнёвой настойки, пил горячую, тёплую влагу, онакрасила его сухое лицо в бурый цвет, ещё более высушила глаза и усилила неотразимость слов его. Бесстыдно, хвастиливо он говорил:

– Для меня – первое удовольствие свадьбы устраивать. Я люблю шум,

кавардак люблю, мне любезна всякая кутерьма и чтобы люди ходили вверх ногами. Когда молодёжь влюбляется – очень смешно глядеть...

Но, говоря это, он не смеялся, даже улыбки не было на лице его; следя за ним косым глазом, Миронов видел, что лицо только подёргивается, страшное лицо. И хорошо ещё, что сегодня столяр не налил на башку свою ремённый, чёрный венчик.

– Ты, Миронов, сирота, учись жить весело, извивайся свободно, согрешишь – не беда, отчёт давать тебе некому, хозяина – нет, понял? Кто твой хозяин, ну?

– Я – не знаю, – сказал Миронов, почему-то очень испуганный этим вопросом.

– То-то! Кабы не девица тут, я бы сказал, кому ты, в твои годы, служить должен, ну, при девице этого нельзя сказать, хотя она, конечно, знает, шельма! Знаешь, Фимка?

– Ничего я не знаю, – сонно сказала отличная девица, и тотчас Миронов почувствовал, что до ноги его дотронулись, а потом крепко сжали её башмаки гостьи. Это прикосновение, спугнув какую-то неясную, но важную и тревожную мысль, испугало Миронова; вырвав ногу свою, он подпрыгнул, закричал:

– Что вы?

Шея, подбородок, щёки, лоб отличной девицы густо покраснели, а столяр, хлопнув Миронова по боку, захохотал, вскрикивая:

– Знает, шельма, знает!..

Миронов плохо помнил, что было потом, когда столяр, смеясь, вышел из комнаты, а девица встала, улыбаясь подошла к нему.

– Ах, какой вы, как сконфузили меня перед дядей...

Она сидела рядом с ним, спрашивала, любит ли он суп из гусиных потрохов, и тут Миронов сказал ей, что в Париже гусиные потроха бросают собакам, что там вообще не любят никаких пакостей и мочёных яблоков, что там живут благородные люди, никто из них не лезет насильно в чужой дом...

Затем какая-то сила приподняла его на ноги, закружила в густой горячей темноте, в ней исчезла эта отличная девица, но тотчас же явился столяр, схватил его за руки и спросил откуда-то издалека:

– Ты, что же, девицу толкаешь? Разве это можно? Она – племянница мне, а тебе ещё не жена. И посуду побил, – что такое?

Миронов слушал изумлённо; столяр стоял вплоть к нему, а голос его доходил откуда-то из-под пола, из-под ног; под ногами хрустели черепки разбитых чашек, и всё странно плыло куда-то, колебалось.

— Если ты слаб на вино — не пей! — строго внушал столяр, поднося к лицу его стакан синеватой воды. Миронов взглянул в глаза столяра и крепко зажмурился...

Проснувшись рано утром, Миронов подумал, что отличная девица приснилась ему так же, как лиса: большая, рыжая лиса быстро металась по небу, слизывая звёзды, и этим создавала такую душную, угнетающую тьму, что земля казалась сброшенной в бездонный колодезь, и только где-то далеко на горизонте остался полукруглый клочок ещё светлого неба, но и с него стирал звёзды лиловый поп Борис, выводя кропилом надпись:

«Сдаётся комната для одинокого».

Миронов вспомнил, что, испуганный этим сновидением, он проснулся и пошёл в кухню пить воду, но, наступив на что-то липкое, с отвращением снова лёг и, мучимый жаждой, долго не мог уснуть. Теперь, сидя на постели, он видел, что нога его и простыня испачканы вишнёвым вареньем, а влажный, только что вымытый пол окончательно убедил его: всё вчерашнее было в действительности. Тяжко вздохнув, он решил:

«Послезавтра продам дом и всё и уеду в Париж, сниму там комнату для одинокого. Надо учиться по-французски...»

Он тотчас взял с полки грамматику и, наугад раскрыв её, прочитал строгий вопрос:

«Que savez-vous sur Bernardin de St.Pierre?» [\[1\]](#)

Между страницами книги оказалась расплощенной маленькая, серая бабочка; разглядывая её, Миронов уныло задумался: приедет он в Париж, парижане станут спрашивать его о святом Бернардине, а он ничего не знает о святом...

Закрыв книгу, Миронов сунул её под подушку и засмеялся, обрадованный внезапно вспыхнувшей, очень простой и верной мыслью: ведь удивительно хорошо и удобно знать только самые необходимые слова, не зная все остальные! Это даёт право не понимать людей, не думать о том, что они говорят, — именно это вполне обеспечивает спокойную жизнь!

— Это — так, это — так! — забормотал он, кивая головою и глядя, как маятник часов, ползая по стене, безуспешно пытается срезать с обоев два букета голубых цветов.

«Почему — продавать дом послезавтра? Я сегодня же продам. А столяра в Париж не пустят...»

Он засмеялся в лицо старухи Павловны, незаметно явившейся пред ним, — пошёл по комнатам, осматривая, оценивая мебель, цветы, и быстро сосчитал, что всё это надо продать за четыреста семьсот рублей.

— Так не считают, — вслух поправил он себя, — это будет тысяча сто.

Но он чувствовал, что ему приятнее считать именно в двух числах, — они давали вдвое больше нолей, чем тысяча сто, а в нолях такая утешительная простота.

— Ноли — ноли — ноли, — запел он.

Павловна, идя вслед за ним, строго позвала его пить чай.

Выпив стакан чая, почему-то очень горького, он решил уйти в поле, за реку, лечь там на песок в кустах можжевельника, пролежать весь день, а когда стемнеет — пробраться в город и ночевать в гостинице.

«Вот и найди меня!»

Но он передумал, — взял удочки и пошёл на реку. Выходя из ворот, он увидел в одном из окон дома Розановых Лизу, протиравшую стёкла, быстро подбежал к ней и сказал тихонько, торопливо:

— Совершенно необходимо переговорить с вами насчёт Парижа, пожалуйста, приходите вечером на кладбище...

Лиза отшатнулась, исчезла, не ответив ни слова, но это не смущило его, он был уверен, что девушка придёт. Рыбу он не удил, а пролежал весь день на берегу реки в кустах, глядя в небо — чистое, не возбуждавшее никаких тревог и дум; он дремал, просыпался и снова дремал до часа, когда солнце, как всегда распухнув и покраснев, почти коснулось крыши главного здания колонии душевнобольных.

Возвратясь домой, он поужинал, надел праздничный костюм и — сообразил:

«Придёт столяр, спросит: куда собрался? Пойду в сад...»

Но выйдя на крыльцо — сел на ступени лестницы.

«В саду — столяр увидит меня. Я — очень умный, очень догадливый, это потому, что я не люблю думать...»

Из земли чисто выметенного и выбритого Артамоном двора торчали, точно дудки, пеньки срезанного репейника, в один из них заглядывала мышь. Вдыхая теплый, влажный ветер, Миронову казалось, что эти дудки высвистывают тихонько знакомую, успокаивающую мелодию детской песни; свистят они так тихо и ласково, что даже мышь не боится игры звуков. Он видел пред собою тоненькую девушку в голубом платье, слышал её речь, необыкновенно приятно говорила она, он не понимал смысла слов, но тем нежнее звучали слова. Он думал, что продаст дом её отцу, дёшево продаст и за это отец позволит ему увезти Лизу в Париж, в комнату для одинокого.

Миронов долго сидел в состоянии полузыбтъя и очнулся разбуженный криками, топотом мальчишек, они ловили кого-то, вечернюю

тишину пустынной улицы грубо рвал звонкий вой:

– Забегай-и, держи-и...

Миронов встал, — маленькие стенные часы в кухне предупредительно ударили восемь раз.

— Пора, — сказал Миронов, — пора!

Вышел за ворота и, помахивая тросточкой, пошёл вверх по улице к песчаным холмам, на их серых горбах изогнулся кирпичный, покрашенный мелом квадрат ограды кладбища, тускло поблескивала жесть креста часовни. Кладбище было новое и не густо засеяно могилами; между могил сиротливо торчали засыхавшие в почве, ещё недостаточно удобрённой трупами людей, рыжие сосны, чахленькие берёзы; серые былинки, пронзая песок, сиротливо тянулись к небу, пыльно-зелёные комья травы прятались в тени по бокам могил.

Миронов медленно шагал по дорожке, усыпанной щебнем; муравьи тащили палочку сухой хвои; он прицелился тростью в муравья, ткнул, не попал и, усмехаясь, сказал:

— Ну, всё равно, живи!

Через ограду видна была полоса дороги, по которой должна была подняться сюда Лиза Розанова. Там, внизу, стекали к свинцовой реке два потока домов и садов; изредка между ними появлялись, исчезали игрушечные фигурки людей, — Миронов погрозил им тростью, говоря:

— Всем вам быть здесь, а я — в Париж! У-у, надоели...

За рекою дымила грязным дымом труба завода, пачкая небо, ещё красноватое на горизонте; сбоку на красноватое пятно надвигалась тёмная и какая-то хвостатая туча, — Миронов вспомнил любимое словечко столяра:

«Скука».

И тотчас увидал его: держа бороду в кулаке, сунув другую руку за нагрудник передника, столяр медленно, равномерным шагом шёл, как бы измеряя землю около дороги, поднимался вверх к песчаным холмам.

Миронов замер на месте, сдерживая дыхание, сразу поняв:

«Следит за мной. Только что я подумал о нём, он — тут!»

Столяр прошёл сорок пять шагов; круто повернул в поле, в сторону от дороги, к двум старым соснам, всё время ведя сам себя за бороду.

— Брёшь, не обманешь, — тихо сказал Миронов и присел у ограды на корточки, следя за столяром в сквозной квадрат между кирпичами. Дрожали ноги, и где-то в теле, в груди, дрожал злой испуг. Миронов встал на колени, прижался грудью к тёплым кирпичам и, размахнув руки, как бы распяв себя, сунул кулаки в отверстия ограды, показывая столяру кукиш и бормоча:

– Врёшь, врёшь...

Тот, внизу, снова подошёл к дороге, остановился и начал что-то делать руками, – Миронов тотчас понял: столяр хочет убедить его, что считает на пальцах. Столяр стоял спиной к нему, смотрел в улицу, откуда сейчас должна выйти Лиза, и когда она выйдет... Невозможно представить, что случится тогда, но, конечно, будет что-то страшное. Миронову хотелось кричать. Но Лиза не появлялась, а тот снял с головы чёрный свой венчик, угрожающее встряхнул волосами, снова надел ремешок и не спеша пошёл вниз.

«Спрятчется где-нибудь и поймает её или меня...»

Миронов уже ясно сознавал, что сам он спрятаться от столяра не может, столяр везде найдёт его, заставит жениться на отличной девице, заставит делать всё, чего он, столяр, пожелает, сделает его своей собакой, как сделал силача Артамона.

Крепко прижавшись лбом к шероховатому кирпичу, Миронов вдруг вспомнил вопрос столяра:

«Кто твой хозяин?»

Отвратительно усмехнулся столяр, спросив об этом.

«Он знает, что меня некому защитить, он знает это...»

Там, внизу, где спрятался столяр, из-за края земли, горою, как дым большого пожара, вздымались облака, такие плотные, что наверное по ним можно ходить.

Вздрагивая от страха, он вспоминал речи столяра, всё более глубоко проникая в их смысл.

«Тебе удивлять людей – нечем», – удивлять людей, значит: жить не так, как все, а главное – не думать ни о чём, кроме обыкновенного. Жить, чтобы никто не мешал. Но, видимо, так жить нельзя, когда есть столяр, он, лукавый, понял, что человек не имеет хозяина, сирота – человек, и вот делает с ним всё, что хочет.

– Конечно – так, конечно, – почти кричал Миронов. – Они все говорят – бог, бог, а распоряжается столяр... Как собаками. Как будто охотник...

Эти гневные, горестные догадки подавляли Миронова. В то же время он ясно ощущал их бессилие, чувствовал, что они не нужны ему, что столяр насилино вогнал в него эти мысли, – до знакомства с ним таких мыслей не было.

Над кладбищем ползли измятые, серые тряпки облаков, замазывая небо грязными пятнами; вот так же мать, пьяная, хватала грязную тряпичку и, вытирая ею стёкла окон, шкафа, зеркало, замазывала прозрачность масляными ласинами.

Повеяло сыростью, песчаные холмики могил потемнели; Миронов встал, посмотрел на дорогу, она как будто ушла в землю, тогда быстро, но стараясь, чтоб щебень и песок не скрипели под ногами, он пошёл домой, а войдя в улицу, увидал, что окна Розановых ещё освещены. Он подбежал к окну, постучал в раму тростью, и, когда на улицу высунулось круглое лицо Клавдии Стрепетовой, тихо сказал:

- Скажите ей, чтобы опасалась столяра!
- Что? – тоже тихо, испуганно спросила девушка. – Да, да, он – следит…

Окно закрылось, точно какая-то большая птица сложила крылья; Миронову послышалось, что за стёклами раздался крик испуга, потом – смех. Оглядываясь, он перешёл улицу, вошёл на свой двор – с крыльца поднялось что-то маленькое, тёмное, оно издали, не касаясь Миронова, толкнуло его в грудь, он отшатнулся.

- Кто это, кто?
- Ну я, – ответил голос Павловны.
- Миронов присмотрелся, – да, это она.
- Столяр спрашивал.
- Меня нет дома, – строго, но тихо сказал Миронов. – Меня никогда нет дома…

Вошёл в свою комнату и, не зажигая огня, не шумя, разделся, лёг в постель. Не спалось, покусывали комары, щипала тревога, и казалось, что столяр где-то близко, возможно, что он в саду, притаился под окном или сидит на крыше, около трубы, держа себя за бороду, придумывая, что завтра сделать с Мироновым. Сбрасывая одеяло, Миронов садился на кровати, спускал ноги на прохладный пол, прислушивался, – всё было тихо, по крыше лениво стучали капли дождя; комнату наполняла плотная, тёплая тьма, в ней одиноко ныл заплутавшийся комар. Миронов взял подушку, положил её себе на колени и – ждал:

«Комара надо убить».

Его покачивала усталость, он валился на бок, дремал, не выпуская подушку из рук, и, снова просыпаясь от какого-то внутреннего толчка, садился на кровати, слушал, наблюдал, как медленно, сквозь неподвижные, тёмные листья цветов на окне, комнату наполняет сероватая пыль рассвета, присматривался к суетной, бессвязной возне воспоминаний, покорно ожиная, когда всё это оборвётся, исчезнет. Был такой момент: вдруг всё скималось тяжёлым комом и сбрасывало Миронова в чёрную пустоту, в безмолвие, в неподвижность.

Этот момент наступил, когда уже взошло солнце, облив стёкла окна

расплавленным жемчугом, – Миронов оглушённо свалился на постель, уснул, но тотчас же, как показалось ему, был разбужен странным каким-то скрипом.

В комнату вошёл человек, одетый в жёлтое, пронзительно скрипя, он бесцеремонно сел на кровать, взял руку Миронова одной своей коротенькой, влажной рукою, вынул из кармана чёрные часы и, глядя на них, спросил высоким голосом, в тоне старого приятеля:

- Ну, что же мы чувствуем?
- Ничего не мычируем, – сердито ответил Миронов.
- А что же вам болит?
- Что такое – вамболит? – задорно и насмешливо спросил Миронов.
- А спали как?
- Лёжа.

Миронов засмеялся, восхищаясь бойкостью и остроумием своих ответов. Он чувствовал себя бодро, даже весело, а человек этот нравился ему, хотя он дышал запахом ваксы, но – тучный, коротенький – смешно напоминал ожившую игрушку «ванька-встанька». Лицо у него было надутое, синее, и по синеве его забавно плавали какие-то необыкновенные, жёлтые глаза, как звёзды без лучей, – такие звёзды бывают влажными ночами. Миронов взглянул в окно, – по небу быстро плыло синеватое облако, напоминая что-то вчерашнее, неприятное...

Щёлкнув челюстью, человек потёр ладонью свой синий подбородок и сказал:

- Вы меня знаете, – нет? Я – фельдшер Исааков, Исааков...

Миронов несколько смущился спросил:

- Который час?
- Половина первого.
- Ого! Я есть хочу.
- Это очень полезно, – одобрил фельдшер Исааков, засовывая в карман жилета чёрные часы.

В комнате стало светло, слова плавали в солнечном свете радужными пузырями, следя за их полётом, Миронов сказал:

- Вот и всегда бы так!
- Что?
- Всё.

Он и внутри себя чувствовал радостное, лёгкое, приподнимавшее его с земли. Босый, в нижнем белье, он пошёл в кухню умываться, но в двери остановился, увидав склонённую над столом светлую голову в тёмном венчике, – столяр, согнувшись, что-то писал карандашом в грязной,

растянутой книжке. Миронов бесшумно повернулся и сел на постель. Всё бодрое, радужное тотчас погасло.

— Что такое? — нараспив спросил фельдшер, щупая его виски липкими пальцами, — Миронов отвёл его руку, тряхнул головою, спросив шёпотом:

— Это он вас привёл?

— Ну да! А — что?

— Он — где ночевал?

— Я знаю разве? Ночуют обыкновенно дома.

— Он — необыкновенный.

— Почему?

Миронов не ответил на этот и несколько других вопросов фельдшера; упираясь руками в край постели, он покачивался, кусал губы и напряжённо думал: как избавиться от столяра?

Скрипя подошвами, фельдшер ушёл в кухню, а Миронов, побежав к окну, начал сбрасывать горшки цветов с подоконника в сад, он уже занёс ногу на подоконник, когда железные руки схватили его сзади под мышки. Не видя, он знал, чьи это руки, и, не сопротивляясь, подчинился их силе, молча позволил отвести себя на постель, опрокинуть на спину. Крепко закрыв глаза, он слушал шёпот двух голосов и, различая во тьме серенькие крючки слов, следил, как они, ловко сцепляясь, образуют непонятное. Вот фельдшер шепчет:

— Авыда, вноза...

Эти слова летели сквозь него, как серые, шероховатые тени, тревожно волнуя, — он открыл глаза.

— Ты что же это, сирота, а? Захворал?

Зелёные лучи глаз столяра разбудили у Миронова смутное воспоминание: он видел где-то эти два луча, это острое, ястребиное лицо, видел давно, ещё будучи маленьким.

— Ну, что смотришь, — не узнал?

«Сам напоминает», — подумал Миронов и сказал:

— Кажется, я вас видел...

— То-то.

— Надо брому.

«Добрый — это я, — соображал Миронов, — они дадут яду, я думаю...»

Он отодвинулся к стене, сел, поджав ноги, опираясь о стену затылком, уставил глаза в угол, в потолок и вздрогнул, похолодев: на потолке отчётливо выступил зелёный квадрат картины «Смерть грешника», на краю картины, безмолвно смеясь, стоял остромордый дьявол с козлиной бородою. Всё сразу стало понятно и остановилось. Вот почему Столяр

испортил голубой дом и так легко скользит по воздуху, вот почему он любит устраивать кутерьму и кавардак.

«Кто твой хозяин?» – спрашивает он, торжествуя, потому что знает: Миронов Константин не верит в обыкновенного бога, обыкновенных людей. Всё – ясно. Но – что же делать? Было очень страшно и жарко. Не разгибая ног, не разняв рук, обнявших колена, Миронов повалился на бок.

- Я спать хочу.
- А кушать? – спросил фельдшер.
- Спать буду.
- Это тоже полезно.

Они ушли. Столяр тихонько сказал:

- Как дитя...

Этим он мог обмануть фельдшера, но не Миронова, Миронов уже понял, догадался, что надо делать, но – прежде надо спрятаться от Столяра.

Полежав несколько минут, чутко прислушиваясь к тишине, он встал, накинул на голову простыню, окутался ею, взглянул в зеркало и, вздохнув, пожалел, что у него нет бороды, – с бородой он был бы похож на воскресшего Лазаря. И тотчас трепетно отшатнулся от зеркала, определённо ощущив, как блестящая глубина потемнела и тянет его в себя, требует, чтоб он упал в неё. Он схватился рукою за косяк двери, тихонько прошептал:

- Я – сейчас, господи, я иду...

Он заглянул в дверь, кухня была пуста, на столе, солнечно сияя, стоит самовар, седенькие клочья пара вьются над ним. Миронов подошёл и повернул кран, – сделать это было необходимо. Но когда, дымясь и тая, на поднос потекла стеклянная струя воды, он испугался, замер, прислушиваясь: где-то на дворе шамкала Павловна и, точно удары молотка, звучали слова Столяра:

- Сам? Ну?

Сам – это, конечно, бог, тот, простой бог всех людей. Значит, проклятый Столяр уже понял, что Миронов идёт к нему, простому богу. А может быть, он сказал: «Сомну!» – угрожая старухе.

Задерживая дыхание, едва касаясь ногами пола, Миронов вышел в сени, поднялся по лестнице на чердак, вдохнул много жаркого, едкого запаха пыли, кошек, птичьего помёта и притворил за собою дверь, встал на колени лицом к голубому полукружию слухового окна и запел, крестясь, кланяясь:

- «Спаси, господи, люди твоя...»

Но, забыв дальнейшие слова гимна, он подумал, встал, подошёл ближе

к окну, громко сказал в небо:

– Я – виноват, виноват, я верую, я прошу...

Но Столляр был ближе бога, он услыхал покаяние жертвы своей и закричал тревожно:

– На чердаке ищите!

Миронов бросился к двери и начал стаскивать к ней всё, что было на чердаке, – поломанную мебель, какие-то ящики, корзины, доски, заваливая этим хламом дверь, он крестил его и бормотал:

– Господи – помилуй!

А Столляр уже вбежал на лестницу, торкался в дверь и всё кричал:

– Константин, – брось дурить! Отопри! Что ты? Слушай, что скажу...

– Боишься? – громко спросил Миронов и засмеялся, чувствуя себя в безопасности, зная, что Столляр не может преодолеть знамение креста.

– Константин! Али я тебе не приятель?

– Нет, – решительно крикнул Миронов и, схватив кирпич с дымохода, бросил им в дверь; удар пришёлся по дну ящика, и гулкий звук увеличил решимость Миронова сопротивляться Столяру. У двери всё ожило силою Столяра, шевелились стулья, скрипели и падали ящики, Миронов смотрел и смеялся над бессилием врага.

Но вот, уступая напору его, дощатая дверь треснула, приоткрылась, вещи распались, раздвинулись, упала и дверь, в раме её явился во весь рост Столляр, – это изумило Миронова, но всё-таки он успел схватить ещё кирпич и швырнуть им под медный клин бороды Столяра, – тогда Столляр крякнул, взмахнул голыми по локти руками и с треском, с громом покатился вниз, а Миронов, исступлённо радуясь, прыгал, кричал, бросал вслед врагу своему всё, что мог бросить, и хохотал, слыша тоже исступлённый вой отчаяния:

– Пожарных надо! Водой! Погубит он себя...

Миронов оборвал свой смех, прислушиваясь. Там, внизу, гудели голоса людей, взвизгивали мальчишки, и весь шум покрывал солидный бас, знакомый голос уважаемого Ивана Ивановича Розанова.

– Ты сам и свёл его с ума.

– Да, – крикнул Миронов, – это он, он! Вы знаете – кто он? Видите? Ага!

Он задыхался от радости, – все поняли, кто таков Столляр, он уже хотел сойти вниз, но его остановил тревожный крик Столяра:

– Только – не бей, Артамон, гляди, не бей, прошу!

Значит – Артамон тоже понял Столяра и возмутился против него? Но возчик боком протиснулся в дверь, не глядя растолкал пинками и ударами

колен всё, что лежало на пути его, и, вытянув руки, растопырив пальцы, свирепо открыв трёхугольный рот, шёл на Миронова, рычал:

– Ну, чего ты, чего, а?

Было ясно, что Столляр приказал возчику считать Миронова лошадью.

– Я – не лошадь, – забормотал Миронов, поражённый хитростью Столяра, отступая от рук, вытянутых, как оглобли, а возчик лез на него и гудел:

– Ну, не бойся, чего ты?

На голову Миронова опустилось твёрдое, горячее, он уже не мог двигаться дальше, возчик загнал его в жаркий, железный угол; тогда Миронов сделал последнюю попытку спасти от Столяра, – он опустился на четвереньки и пополз встречу Артамону, но тот схватил его поперёк тела, приподнял, опрокинул вниз головою и рявкнул:

– Поймал!

Мироном ударился головою о жёсткую пыльную тьму, тело его как бы растаяло, разрушилось.

Потом тьма медленно расплылась, Миронов почувствовал, что лежит на чём-то мягким и качается, летит; ноги и руки у него отломлены; голова неестественно раздулась и стала так тяжела, что нет сил поднять её; в ней кружились, стирая друг друга, светлые и чёрные пятна, чуть слышно звучала мелодия песенки отца:

Семь су,
Семь су,
Что нам делать на семь су?

Над ним ослепительно сияло голубое небо, в мягком этом свете плыли белые, неясных форм, фигуры, увлекая его; вот две из них склонились над ним, умело и быстро приделали ему новые, очень слабые руки и ноги, вычистили голову, сделав её лёгкой, точно пустой, и, качая, понесли его выше, в голубое. Миронов понял, что бог услышал его и похитил с земли, послав за ним ангелов. Так это и было: вот он, бог, сам явился пред ним, белый, высокий, в золотых очках, он ответил на радостный крик Миронова безмолвным, но ласковым кивком головы и проплыл мимо, опахнув лицо его прохладным веянием и запахом цветов.

Восхищение Миронова было тем сильнее, что он видел не простого, старого бога обыкновенных людей, но настоящего, мудрого создателя бесконечной, певучей тишины. В его мире всё было тихо, ласково;

необыкновенно прозрачная, почти невидимая вода омыла Миронова, и когда создатель голубой тишины снова явился пред ним, Миронов уже знал, что с этим богом необходимо говорить на языке Парижа.

— Je vous remercie, mon Dieu, — сказал он, — je vous remercie, que vous...
[2]

У него не нашлось больше слов, и он продолжал по-русски:

— Вы извините, я ещё плохо знаю язык, мне трудно. Мне было страшно трудно! Тот, старый, простой бог не имел силы помочь мне. Я не люблю его, я хотел к вам, давно уже...

— А — как давно? — спросил создатель голубой тишины, отечески ласково глядя в глаза его, поверх очков.

— Toujours — всегда, — сказал Миронов и спросил: — Я ведь не опоздал?

— О нет! — улыбнулся создатель. — Ко мне — вообще — не торопятся.

Миронову послышалось, что это сказано с грустью, с упрёком.

— Oui [3], — согласился он, чувствуя, что голубые мысли и слова меркнут в голове его, тревога покалывает сердце, — тревога, что не успеет он сказать всё, что нужно. — Да, да, — они там не торопятся; они все женятся на отличных девицах, на Фимках, на Серафимках, чёрт их возьми — pardon! Они там, знаете, как собаки, — ужасное бесстыдство! Потом — рожают, едят мочёные яблоки и жадничают, жадничают невероятно! А я — вы это знаете — ничего не хочу... Бог, — тот, обыкновенный, их бог, не обращает на них никакого внимания, и всем командует Столляр, вы, конечно, знаете! Вы знаете — я первый понял Столяра, он — дьявол пустяков, кутерьмы, дьявол кавардака. Он выдумал свадьбы, мочёные яблоки, пьянство, пироги с рыбой, игру в карты и всё, чего я не люблю, не хочу, не хочу...

Вспомнив о проклятом Столяре, Миронов рассердился, начал кричать, но создатель голубой тишины взял его за руку и, перелистывая другую рукой книгу законов своих, спросил ласково:

— А голова — часто болит?

«Голова — la tête», — вспомнил Миронов и, подняв руки, пощупал голову свою, — она была гладкая, холодная, как глобус.

«Предполагается, что это висит в воздухе», — вспомнил он, скимая голову ладонями, пробормотал эти слова вслух и жалобно запел:

Чижик, чижик, — где ты был?

— Много присочинил? — спросил я доктора Александра Алексина, когда он рассказал мне историю этой болезни.

— Конечно, ты бы присочинил больше [4], — ответил он, усмехаясь. — Историю эту рассказал мне коллега, когда я лечил перелом руки Миронова. Миронов этот выбросился из окна, увидав столяра, который пришёл навестить его. А на днях я снова встретил Миронова, он явился ко мне с бронхитом. Разговорились, вспомнили друг друга. Его трудно забыть, — рожа незабвенная. Он, кажется, большой жох [5], хотя вид у него кисленький. Это его «Переплётное заведение» на Морской...

Константин Дмитриевич Миронов заглянул скучным, тёмным глазом на дно стакана, усмотрел там нерастаявший сахар, тщательно выскреб его чайной ложкой, отправил в рот и, облизнув жёсткие усы, вздохнул.

— Да, вот какой случай вывиха разума! Что ж, — приступим к делу?

Тонкими пальцами очень длинных рук он взял карандаш, кусок бумаги.

— По рекомендации уважаемого доктора Алексина и как вы сами тоже книжный человек, я вам поставлю за кожу... за коленкор... Дорого? Ну, что вы! Как раз в меру стоимости...

Он подробно рассказал о ценах материала, о капризах рабочих, о тяжести налогов и о многом другом, что должно было убедить меня в его бескорыстии. Говорил и гладил ладонью свой бугроватый, по-татарски обритый череп, с большими ушами, они оттопырились, напоминая ручки чемодана. Большой, серый нос опускался на жёсткие щётки подстриженных усов. Скулы его странно двигались, глуховатый голос звучал однотонно, бесцветно, казалось, что Миронов жуёт и сосёт свои слова. В маленькой, тесной комнатке очень душно от запаха кожи, клея и машинного масла. Где-то в углу, над шкафом с книгами, неохотно погибала муха.

— Скажите, — как вы почувствовали, что разум возвращается к вам?

По столу, щупая бумаги, цепко ползают пальцы правой руки с чёрными ногтями. Глядя тусклым, косым глазом в угол, где погибала муха, Миронов неохотно говорит:

— Я ведь почти забыл всё это, да вот доктор понудил вспомнить. Неинтересно и стыдно несколько; даже — обидно, если подумать, что люди сходят с ума вообще на чём-нибудь умном, например — царями воображают себя, зверями, — вообще что-нибудь возвышенное или смешное затемняет душу, а у меня — глупость! Там был один инженер, так он вообразил себя шахматным конём, прыгает перед дверью направо, налево, а в дверь не может попасть, — смешно. Когда тамошний доктор рассказал мне, что я его

за бога принял, — очень неприятно было мне слышать это, хотя доктор — человек приличный. Но всё-таки...

— Столляр? Столляр, конечно, помер; впрочем — не особенно давно, года четыре тому назад, когда я уже здесь жил; я ведь здесь девятый год по слухам слабости груди. Он предварительно спился, столяр. Пришлось мне судиться с ним, — за одиннадцать месяцев, покамест я хворал, он, своевольно управляя моим имуществом, такого нагородил!.. Он был действительно безумный, вроде вот этих писателей — поэтов...

Миронов ткнул пальцем в какую-то книгу, — обложка с неё была сорвана, — покашлял, погладил горло.

— Как же, книги я читаю в свободное время. Больше — на ночь. Нет, книги на меня не действуют. Да и неинтересно пишут теперь. Любовь, любовь, но ведь не все в этом нуждаются.

— Французский язык полезен для корешков; французских книг переплетаю немало. Итак: тринадцать томов в кожу, — библия, конечно, по другой цене, это книга толстая...

— Что это, как вас столяр интересует? — спросил Миронов как будто обиженно и продолжал вялым тоном:

— Обыкновенный субъект, вполне достойный своей участи. Был у него расчёт женить меня на племяннице своей, вот он и кавардакил, глядя на моё, как уж на своё. Ну, я с Розановым, тестем моим, довольно основательно прижал его, он Розанову за лесной материал сильно должен был.

Слушая неохотную речь Константина Миронова, я испытывал настойчивое желание вновь свести его с ума. А он говорил, вежливо покашливая:

— Лизавета Ивановна скончалась, родила мне мёртвенькую девочку и сама — вслед за нею. Я теперь на здешней женился. Ничего, благодарю вас, живу спокойно; хотя мать у неё гречанка, но сама она оказалась женщиной приличной. А с той — откровенно скажу — я не нашёл покоя; была она капризна, слезлива и вообще — тяжёлого характера. Притом — богобоязненна, даже, извиняюсь, до смешного, всё у неё крестики, иконки, разговоры о чудесах. Смерти боялась.

Кашлянув, Миронов нахмурился и сказал поучительно:

— Хотя — чего же тут бояться? Надо помнить казацкую поговорку: «Пока я есть — смерти нет, смерть придёт — меня не будет». Очень правильно. К этому добавляется: «Раньше смерти — не умрёшь».

Он усмехнулся, Миронов, показав ровный, мёртвый ряд вставных зубов.

– На именины мои, представьте, Лизавета Ивановна подарила мне кольцо с черепом, а я терпеть не могу человеческих костей! Тоже фантастическая была, вроде безумной. С Розановым после смерти её пришлось мне судиться из-за приданого. Он, конечно, почтенный человек, но уж очень жаден... Продолжим? «Дон-Кихот», два тома – в кожу?

– Нет, вы уж не торгуйтесь! Ведь рассказ о временном несчастии моём, наверное, даст вам заработать...

– Вы и это учитываете?

– А – почему нет? – спросил Миронов не без удивления. – Всё надо учитывать. Жизнь требует точности, кто её в этом слушает, к тому и богиня Фортуна благосклонна.

«Нет, – подумал я, – Константина Дмитриевича Миронова уже никто и ничто не сведёт с ума».

И спросил:

– А глобус – сохранился у вас?

Глядя на бумажку с цифрами, поглаживая затылок, Миронов ответил:

– Глобус столяр, должно быть, хотел исправить, но окончательно сломал всю музыку...

notes

Примечания

1

что вы знаете о Бернардене де Сен-Пьере? (*франц.*) – Ред.

2

благодарю тебя, боже, благодарю, что ты... (*франц.*) – Ред.

3

да (*франц.*) – Ред.

4

Кажется, я так и сделал – *прим. М. Г.*

5

бранно: мужик, серяк, вахлак, смурый, чёрный и грубый мужлан – Ред.